

*Всем расстрелянным,  
сожженным и замученным в годы войны  
священнослужителям и их семьям  
посвящается.*

## ВСТУПЛЕНИЕ

**П**о армейскому ранцу, что стоял рядом с офицером, монотонно барабанили капли дождя. Их ритмичный стук напоминал Фридриху щелчки хронометра, отсчитывающего чей-то срок. Командир егерей отвел край перчатки и еще раз посмотрел на часы. Светящиеся точки на циферблате все так же показывали полчетвертого. Стрелки не хотели двигаться, и офицер усмехнулся, думая о том, что он, обер-лейтенант Фридрих фон Зельц, наконец-то научился оттаивать время.

Офицер не был мистиком, но в судьбу верил, зная с детства, что у каждого человека она predetermined с рождения и ее можно улучшить верой и добрыми делами. Вот за ними он и пришел в Россию, чтобы избавить мир от большевистской заразы. Его не сильно смущал тот факт, что при этом гибли невинные люди, и в таких случаях любил повторять фразу, услышанную однажды на похоронах от сельского пастора: «На все воля Божья». Хотя во всем остальном Фридрих отказывал Богу. Обер-лейтенант был протес-

тантом, и это позволяло ему скептически относиться к Божьему промыслу, приписывая победы и достижения исключительно собственным заслугам, личной воле или на крайний случай считать все произошедшее элементарным везением.

Как и сегодняшний день.

Не успели выйти к дороге — и сразу же пришлось падать лицом в мокрую листву. Мимо проехали два мотоциклиста в касках, летных очках и кожанках без знаков отличия, зато с автоматами. Патруль в столь ранний час навел на мысль, что будет штабная машина, и Фридрих приказал ждать. Будет ли птица важной, он точно не знал и мог лишь надеяться, что «гусь» — так обер-лейтенант называл генералов РККА — окажется жирным.

Место для засады выбрали удачное. Дорога за поворотом уходила в низину, к которой вплотную подступал мокрый темный лес, отливающий синевой. В овражке колея расползлась, превращалась в огромную бурую лужу, засыпанную нанесенной ветром листвой.

По расчетам Фридриха, в пределах пяти минут должен появиться автомобиль. Сколько их будет — два, три или десять — какая разница? В любом случае егеря атакуют. Только колонна танков могла заставить Фридриха отдать приказ на скрытный отход без боя.

Обер-лейтенант расположил группу спиной к восходящему солнцу. И хотя небо было затянуто тяжелыми тучами, Фридрих знал, как обманчива погода осенью. Особенно здесь, в холодной и недружественной России, где, казалось, сама природа воюет против них. Надо было исключить все, что помешало бы прицельной стрельбе, в том числе и солнечный луч, который мог прорваться сквозь тучи и ослепить в самый неподходящий момент.

Послышалось завывание двигателей. Именно так должен петь слабосильный мотор, тянущий перегруженную легковушку по размытой дождями и разбитой танками дороге.

Фельдфебель Литке, лежащий в паре метров от Фридриха, повернулся к командиру, показывая два пальца. Обер-лейтенант кивнул: машин будет две.

Так оно и вышло: из-за поворота показались ползущие «эмки». Офицер поднял руку, призывая солдат к вниманию. Каждый в его группе знал, за что отвечает: кто подрывает, кто и когда кидает гранаты, очередность стрельбы...

Еще не осела от взрыва мины грязь, окутанная пороховым облаком; еще темные капли дождя, смешанные с кровью, ползли по стеклу, а пулеметы уже изрешетили оба автомобиля, не оставляя пассажирам шансов на жизнь.

К расстрелянным машинам пошли четверо: Фридрих, Литке и два солдата. Остальные остались на позициях, переведя стволы туда, откуда, по предположению обер-лейтенанта, могла нагрянуть расплата. Но все было тихо. Только дождь монотонно стучал по крышам изуродованных автомобилей.

За бугром раздалась характерные, узнаваемые щелчки — так стреляет их родной «шмайсер», и через некоторое время оттуда крикнули филином, сообщая, что мотоциклисты не приедут.

Двумя пальцами Фридрих отвел дверцу, с удовольствием отмечая, что «гусь» и вправду оказался жирным. В залитом кровью кресле сидел обмякший, перерезанный пулеметной очередью двухзвездный генерал лет пятидесяти, небритый, с вьющимися, побитыми сединой волосами. По документам оказалось, что они перехватили начальника тыла армии и его подчиненных — подполковника и двух майоров. Во второй машине ехало сопровождение: офицер связи и лейтенант, обвешанный гранатами, — наверное, ординарец.

Фридрих приказал собрать документы, разлетевшиеся из подорванной машины. Обер-лейтенант спешил: дорога, на которой они сорвали куш, хоть и не была

главной, но и по ней раз в полчаса проходила какая-нибудь колонна, направляющаяся на юг — туда, где гремел фронт. А еще у них было назначено randevу с самолетом, который должен был сбросить провизию и патроны.

Да и как-то не хотелось погибать в расцвете сил...

## Часть I. ЦЕРКОВЬ

### Сон протоирея Алексея Голикова, настоятеля храма Всех Святых, что во Мхах

Отцу Алексею приснился чудный сон.

Будто он был восхищен на небо, и сонм ангелов сопровождал его в этом торжественном восхождении. Раскинув белоснежные крылья, бесплотные силы несли батюшку, поддерживая за руки. И слова апостола Павла, словно напутствие, звучали в ушах: «Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке (только не знаю — в теле или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать...»

И от всего с ним происходящего умилением и радостью переполнялось сердце отца Алексея.

Одно только смущало батюшку — его одежда. Он был не в праздничной фелони и камилавке, как и положено священнику, собирающемуся предстать перед Всевышним, не в рясе с перекинутой через шею епитрахилью и даже не в чистом исподнем. Побелевшая от пота гимнастерка с малиновыми петлицами; грязные, порванные галифе, заправленные в стоптанные, вымазанные рыжей глиной сапоги, и солдатский ремень с пятиконечной звездой приводили отца Алексея в робкий трепет. Он не понимал, как оказался не в своей одежде и можно ли священнику в таком виде предстать на Суд Божий...

Это смятение в душе и пробудило его.

## ГЛАВА 1

Батюшка открыл глаза.

В темной комнате тикали ходики. Дети спали за занавеской: сыновья — на двух сдвинутых лавках, а Дарья с младшими — на печи. Детей у священника было пятеро: три мальчика и две девочки. Первым шел Федор, потом Дарья, Иван, Танюшка и самый младший — Степан. Между старшими возраст различался не сильно, сгаяя по головам двухлетними прыжками. Это касалось только первой тройки. Между Иваном и Танюшкой разница была уже в четыре года, а между Таней и Степкой — три года: стройный ряд рождаемости немного подпортили аресты.

Отец Алексей откинул одеяло и сел на кровати, потирая лицо.

Виденное не выходило из головы. «Сон как сон, чего тут, — подумал батюшка и, вспомнив про гимнастерку, коснулся руками подрясника: лен был теплый и немного шершавый на ощупь. — А хоть бы и так, чего мне бояться? На Тебя уповаю и Тобю живу, Господи! Прости меня, грешного». Перекрестился на темный угол, в котором висели иконы и где в свете мерцающей лампы угадывался образ Спасителя рядом с Пресвятой Богородицей.

— Боже, милостив буди мне, грешному, — прошептал батюшка, боясь разбудить детей. Помолчал, собираясь с мыслями, и тихонько добавил: — Меня не жалея, не заслужил... Об одном только прошу: деток моих сбереги, вразуми и от веры истинной не дай отвратиться.

Священник был не стар годами, но и не молодой. Сеть морщин, выбитые зубы, редкие локоны и венником торчащая во все стороны седая борода делали его старше своих лет. Многим казалось, что перед ними умудренный жизнью старец, знаток душ и мудрый пастырь, к которому хочется припасть под епитрахиль и плакаться, не жалея слез. Все было почти так — за исключением того, что в этом году отцу Алексию исполнилось сорок. Годы борения властей с церковью, козни обновленцев, три ареста и личное семейное горе не прошли для батюшки даром.

Весной этого года он схоронил жену — точнее, схоронили без него. Старшие сыновья — пятнадцатилетний Федор, рукоположенный в сан диакона, и одиннадцатилетний Иван, помогавший при храме алтарником, — отпели свою мать. Односельчане помогли выкопать могилу и опустить туда гроб. На этом их участие в погребении матушки закончилось. Потолкались у могилки и разошлись, не желая, а точнее — побаиваясь идти на поминки в дом арестованного и, как уже думалось, увезенного в безвестность священника. И хотя отца Алексея Голикова в селе любили, но власть боялись больше Бога, что явно противоречило спущенным с Неба заповедям.

Построение социализма накладывало на народ свой неизгладимый отпечаток. Власть отвращала людей от Бога, закрывала церкви и делала из попов неких косматых чудовищ, питающихся исключительно кровью и плотью. Итак, вышло, что по всем пророчествам, приведенным в Ветхозаветных книгах и книгах Нового Завета, по страну воинствующих безбожников должна была обрушиться неминуемая кара — такая же, какая постигла отвратившихся от Бога иудеев. О чем накануне Пасхи в порыве страстной проповеди неосторожно и обронил отец Алексей: «...ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Сказал он это в Вербное воскресенье, имея в виду совсем не то, что услышали уши прихожан.

Тут же нашлись доброты и накатали в райцентр бумагу о том, что местный поп предвещает скорое падение советской власти. Заодно вписали и про воду, которую священник хотел сделать источником, текущим в жизнь вечную — по безграмотности и скудоумию думая, что поп хочет отравить деревенский колодец.

Батюшку арестовали в Страстную пятницу.

Жена увидела в этом нехорошее предзнаменование и, как только телега с ее супругом и тремя сопровождающими милиционерами скрылась за околицей, сползла по стене на пол, держась за сердце. Как говорили потом в деревне, у попадьи случился удар.

Протоиерея Голикова выпустили через месяц после Пасхи. Жену он уже не застал, зато застал войну.

В деревню он вошел в тот самый час, когда сельчане, собравшись возле магазина, слушали речь товарища Молотова.

Вспомнив матушку Елизавету, отец Алексей перекрестился, желая ей Царствия Небесного, нащупал пальцами ног войлочные ботики, опустил в них ступни и встал. Как-то невесело скрипнули пружины, освобождаясь от тяжести тела. Поверх подрясника священник натянул висевшую на спинке кровати вязаную кофту. Пальцы пробежали сверху вниз, вдавливая пуговички в петли. Батюшка поежился, как бы собирая растерянное тепло, и осторожно, стараясь не скрипеть разошедшимися половицами, подошел к иконам. Перекрестился еще раз, взял с полки свечу и, потянувшись к лампаде, зажег сохшийся, почерневший фитилек.

Огонек свечи вспыхнул и затрепетал от радости, что он силен и с легкостью может растапливать застывший воск.

Лампаду обычно по будням в доме не возжигали, приберегая деревянное масло для больших праздников, воскресных и торжественных дней. Но сегодня был особый случай — праздник в честь иконы Божией Матери «Прежде Рождества и по Рождестве Дева», очень почитаемой в Тверской губернии, особенно после холеры 1848 года, и батюшка еще с вечера наполнил лампадку маслом.

Прикрывая рукой дрожащий огонек, отец Алексей зашел за занавеску, где спали дети. Печь еще не остыла, и здесь, в закутке, пахло теплом и уютом. Священник встал на приступочек, осматривая детей. Младший, Степка, спал посередине, между Танюшкой и Дарьей. Батюшка поправил сползшее со Степана одеяльце, махнул рукой, прогоняя муху, и спустился на пол. Постоял перед сыновьями, лежащими на двух сдвинутых лавках. Федор и Иван спали в подрысниках, отчего одеяло лежало скомканным в ногах. Отец Алексей перекрестил детей и вышел.

В кухне холодило.

Батюшка присел на скамейку рядом с печью. Снял заслонку, оперся на шесток, и рука со свечой нырнула в топку. Пламя, жадное до любой еды, тут же ухватилось за тонкие, с вечера наструганные щепочки и кусочки бересты, подоткнутые под дровяной колодец. Газетами не топили — не было, да и боялись. Пролежавшие всю ночь в теплом горниле дрова занялись, вспыхнули, затрещали. Отец Алексей заслонку задвинул наполовину — чтобы тепло уберечь и огню дать подыхать. Задул свечу, машинально снял пальцами нагар с кончика фитиля и похозяйски сунул огарок в печурку. Потоптался, осматривая кухню: вода в кадке была, в стоящем на полу чугушке лежала начищенная еще с вечера картошка, между которой торчали носики моркови. В доме была еще брюква, но она, уже сваренная, стояла на столе. В погребе хранились соленья, но это закуска, а не еда. Мясо, хлеб, чай — пропали. Мука была, но ее берегли на просфоры. Война коснулась всех, и семьи священнослужителей не стали исключением.

До зари было еще время...

Как человек, служащий Богу вот уже тридцать лет, отец Алексей ни разу не пропустил утреннее правило и никогда не вставал на него неумытым, непричесанным и неодетым.

Даже в тех местах, где ему пришлось побывать, он старался примять растрепанные волосы, хоть каплей воды да протереть глаза и, застегнувшись на все пуговицы, встать возле нар, устремляя свой взгляд на восток. Где сия сторона света, можно не спрашивать: на той стене всегда были нацарапаны голгофки — православные кресты. По символам отец Алексей понимал, что до него в этой камере находились священнослужители, да и он здесь, скорее всего, не последний.

Как он выскочил из-под пресса — одному Богу известно, но до сих пор в плохую погоду у него болели отбитые и искалеченные части тела. Изю всех трех арестов он запомнил только, как раскачивался на стуле, держась за сломанные ребра, и монотонно бубнил: «На все воля Божья. Хотите убить — убейте, хотите отпустить — отпустите. У Господа все дела взвешены — и добрые, и злые...»

Чтобы не было жара и печь равномерно нагревалась, батюшка кинул поверх огня несколько сырых веток. Закрыв заслонку, слушая, как начинаet оживать дом. Набрал в ковшик студеной воды, взял с подоконника круглую баночку с черным зубным порошком (смесь сушеной коры дубы, подорожника и золы), перекинул через плечо полотенце и вышел в сени.

Перед дверью уже крутился вьюном на коротких лапках черный смоляной кобелек с несвойственным для этих мест именем Турик. Бородатая мордочка дела-ла его этаким милым старичком, похожим на своего хозяина. При всем своем не-

злбном характере пес являлся надежным защитником для поповских детей и единственной живности, которую прятали на чердаке и которая регулярно несла яйца в этом доме.

Откинув защелку, батюшка распахнул дверь, впуская в сени ночную сырость и звук капель, непрерывно стучащих по крыше. Плеснул из ковша на ладонь и, высунувшись в дверной проем, зафыркал, яростно растирая лицо водой.

За сеткой дождя с трудом угадывались потемневшая от влаги колокольня и купол деревянного храма, в котором протоиерей Алексей Голиков служил настоятелем. Священник умылся и замер, привлеченный удивительным видом: сквозь темные свинцовые тучи прорвался луч далекой зари и коснулся креста на колокольне, превращая его в пылающую Голгофу. Прогорел и пропал, вновь погружая мир в неопрятную серую тьму.

Одно мучило отца Алексея: за что он удостоился такой чести — быть вознесенным в Царствие Небесное? Что такого сделал, чтобы, проскочив мытарства, войти на брачный пир? Мысли опять вернулись к одежде. И тут его посетило сомнение.

А не бес ли подкинул сей сон?..

И не будет ли с ним, как сказано у апостола Матфея: «Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; ибо много званых, а мало избранных»? И будет он, протоиерей Алексей Голиков, извержен во тьму крошечную за свою дерзость, что посмел явиться на пир не в своей одежде.

Хотя зачем тогда ангелы прилетали?..

Нет... все-таки это праведный сон и ему предстоит пострадать. А вот как — он не знал.

— Может, на фронт заберут?.. — батюшка пожал плечами и вздохнул. — А хоть бы и так. На все воля Божья!

### **Сон рядового 917-го с.п., красноармейца Алексея Смирнова**

В эту же ночь почти схожий сон, но с абсолютно противоположным сюжетом приснился еще одному человеку. Бойцу Красной Армии, рядовому 917-го стрелкового полка 249-й стрелковой дивизии, дезертиру Алешке Смирнову.

Ночь, темнота, дождь.

Он стоит на паперти перед храмом. И вроде под зонтом, а зонта нет. С неба моросью сыпет, а он сухой. Храм за спиной темный, невзрачный — одним словом, мокрый какой-то. И зарница сверкает так, что жуть берет, и гром, не переставая, бухает. И понимает Алешка, что не май и грозы не должно быть, и церковь вроде не к месту, и одет как-то не так. На нем платье черное до пят с распашными рукавами, шапочка вязаная и крест на груди из чистого золота.

Смотрит на все это комсомолец Алексей Смирнов и диву дается. Да как можно, чтобы в рясе да с крестом? И только он хотел все это сорвать с себя, как из подлеса выскочил черт лохматый со шмайсером и затараторил на ломаном русском: «Матко, млеко, яйко, пиф-паф, русиш швайне».

От такого зрелища задрожал Алешка, сердце екнуло и затрепыхалось в груди. Хочет перекреститься — а руки, словно гири, тяжеленные; хочет закричать — так в горле пересохло; хочет молитву прочитать — и не знает ни одной. Только и может, что, как рыба, ртом воздух хватать.

А черт щерится своим свиным рылом и давит на спусковой крючок, да так, что ствол автомата уводит вверх и пули секут по крыше храма. Отстрелялся, сбросил под копыта обойму, вставил новую, дернул затвор — и еще раз: да с оттяжкой, да прямиком под ноги...

И только боец Красной Армии хотел дать драпу, как открылась дверь и из приотвора в сиянии неизреченном вышел старец в архиерейских одеждах. Посмотрел на всю эту вакханалию, осенил бойца крестным знамением, изрек: «Благословляю» — и исчез.

И страх унес.

Кинулся красноармеец к черту, сбил крестом наземь — и давай дубасить сапожниками. А сам рясу руками поддегивает, чтоб не путалась между ног. Добил фашиста, пот рукавом вытер и взгляд опустил. И видит его ясные очи, что из-под рясы сапоги кирзовые торчат — солдатские, стоптанные, глиной перепачканные...

Тут и проснулся боец Красной Армии Алексей Смирнов.

## ГЛАВА 2

Рядовой Алешка Смирнов не проснулся — скорей очнулся от забытья, в которое он впал от усталости. Вместо креста в руке была саперная лопатка, густо измазанная кровью. Одет он был не в рясу с распашными рукавами, а в грязную, набухшую от влаги шинель. На голове вместо скуфейки сидела натянутая до ушей пилотка со звездочкой. И лежал перед ним зарубленный и забытый ногами немецкий солдат — из тех, что ходят за линию фронта. Коренастый малый с ровно сколотыми зубами от удара лопаткой, лычками ефрейтора поверх пятнистой куртки с капюшоном и серым металлическим эдельвейсом на кепи, вдавленной в грязь. Молодой и уже неживой.

Дождь стих, но ненадолго. Как артиллеристы между стрельбами, так и тучи сделали временную паузу, готова боеприпасы. Осинник, в котором стоял Смирнов, шумел, наполняемый ветром. Этот шум и спас бойца Красной Армии. Предсмертный крик немца был отнесен ветром в другую сторону. Туда и погнал оберлейтенант своих разведчиков, стараясь окружить врага, посмеявшегося забрать жизнь у солдата вермахта. Эта оплошность дала Алешке фору во времени и шанс на выживание.

Но Фридрих никогда не стал бы старшим лейтенантом, если бы полагался только на свой слух и зрение. Офицеру разведки нужна еще интуиция, которой он и воспользовался. Вскинул руку, останавливая разведгруппу. Отделил пятерых егерей и послал прочесать район, от которого они только что удалились. Посланцы и нашли ефрейтора, сброшенного в овраг и наскоро заваленного примятой крапивой.

В планы горных стрелков не входило бегать по лесам за русским дезертиром. Разведгруппа шла к железке, проходившей в пяти километрах от того места, где ефрейтор Шульц неосторожно разбудил спящего красноармейца. И только убийство солдата Великой Германии заставило Фридриха изменить маршрут, чтобы наказать наглеца.

Погоню организовали по всем правилам охоты с преследованием.

Он бежал — а они шли; кружил — а они шли; прятался — а они шли, гоня его, словно зверя. Шли «волчьим ходом»: пружиня шаг, наклонив корпус, переноса вес тела чуть вперед. Что-то среднее между бегом и прогулочным шагом. А еще у немцев была карта-двухверстка, а у Алешки — ничего, кроме желания выжить и не попасть в плен. Фрицы гнали Алексея в угол между двумя болотами.

Треснувший, но не развалившийся фронт был за спиной в пятнадцати верстах.

Там до сих пор бухало и сверкало. Удольно прорыва на всю глубину обороны не произошло. Советские части, выбитые из окопов первой и второй линий, цепляясь друг за друга, отходили с боями на заранее подготовленные позиции. Такая тактика противника и отсутствие резервов не позволяли командующему 23-м армейским корпусом генералу Альбрехту Шуберту выполнить поставленную перед ним задачу — прорвать фронт, выйти к железной дороге Селижарово—Лихославль и с ходу взять Торжок.

Где-то здесь стояли советские части второго эшелона. Сплошной линии обороны тут не было, и только случай мог спасти Алексея. Он мечтал наткнуться на обозников, а упасть в окоп к своим вообще почитал за счастье. Но счастье удалялось от него по мере того, как он выбивался из сил, а лес редел, переходя в мочажину. Под ногами захлюпало, пошли мхи и кочкарники. Стена спасительного леса вильнула и ушла в сторону, синеватой стеной охватывая болото по кругу. «В таких местах не роют окопы», — почему-то подумал красноармеец и затравлено обернулся, стараясь разглядеть серо-зеленые тени.

Немцы шли полукругом, сжимая удавку.

Раза три или четыре Алексей пытался вырваться из низины и кинуться в лес, но грязевые фонтанчики от пуль вставали на его пути, заставляя бежать вглубь болота. Бог миловал, и боец не влетел в «окно». Это когда дерн трещит и рвется, земля уходит из-под ног, выплевывая тебе навстречу вонючую серую жижу. Кто-то провел его между трясиных пятаков и вытолкнул на дорогу, заставленную брошенной техникой. Алешка не сомневался, что виденный им во сне архиерей где-то рядом, не оставляет и ведет к некому сакральному месту, известному только ему одному...

Так и получилось.

Грязный и мокрый, Алексей выбрался на насыпь и, переводя дыхание, усталое уперся руками в колени. За дорогой солдат Смирнов увидел крыши домов и храм — такой же, как и во сне: черный и мокрый. К нему и вела Алексея невидимая рука. До церкви было не больше ста метров. Но эти метры представлялись ему самыми тяжелыми. Перед ним лежал океан прожорливой грязи, из которого торчали крыши легковых автомобилей, зарывшиеся по самые борта ЗИСы и даже легкий танк с размотанной гусеницей.

Готовя пути отхода, части 22-й армии взялись стелить гать, пытаясь срезать крюк и выскочить за Мхи, да не успели — дожди пошли.

Так и бросили все: и дорогу, и технику.

\* \* \*

Это были Мхи.

Забытая всеми, кроме Советской власти, деревня в глубине Селижаровских топей. В засушливые летние месяцы Моховское болото распадалась на три неравных части с поэтическими названиями: болото Бездонное, Донное и Полудонное. Хотя на карте имелись свои названия, но в деревне они не прижились.

Старики поговаривали, что у первого болота вообще нет дна; у второго вроде дно есть, метра два, и если твой рост выше этого параметра, то через болото можно пройти, если нет — лучше не соваться. А вот третье болото считалось самым загадочным. Идешь, вроде по колено, хлоп — и ты в яме, а там вода, вылез — и опять по колено, шагнул — и уже в трясине бездонной, из которой одна дорога... (в этом месте рассказчик многозначительно закатывал глаза, показывая пальцем на небо).

На болоте жили, по болоту ходили, в болоте хоронили.

Но не все так плохо. Как леденец на палочке, так и деревня сидела на узкой дороге, связывающей Мхи с внешним миром. По ней вывозили торф, по ней привозили продукты в сельмаг, по ней уходило на фронт.



Сквозного проезда) через деревню никогда не было. «У нас только стезжи да коровьи лепешки, — шутили мужики и договаривали: — Мы как блин из печи: дома по кругу, видим все друг друга».

Проплешина среди болот имела дюжину домов, церковь, магазин. За деревней возле дороги, на самом краю Полудонного, или, как еще говорили, Полуденного, болота стоял длинный барак, бывший когда-то правлением Моховского торфяного товарищества. После национализации товарищество получило громкое наименование «Моховское торфопредприятие имени Ильича». Смена вывески привела к тому, что предприятие лет через пять перевели в разряд неперспективных — по причине экономической нецелесообразности. Виной была та самая палочка леденца, которая ранней весной и поздней осенью исчезала под слоем талой или дождевой воды. Болота в это время соединялись, и никто уже не мог понять, где между ними граница.

Дело в том, что дорога от торфопредприятия ныряла в низину, с километр петляла между торфяными каналами и только потом выбиралась на сухой пригорок. Зимой здесь был зимник, летом летник. А весной и осенью Мхи превращались в остров.

При затяжных осенних дождях, что не редкость в здешних местах, земля обычно после Покрова начинала выдавливать воду, как бы говоря: «Мне хватит, это вам». После этого жди дня, когда потоки выйдут на поверхность, заливая окрестности.

Пойдешь к околице — и не знаешь, куда ногу поставить; что там было вчера — одному Богу известно. По деревне еще ходили, оставляя сапоги в грязи, а вот чуть дальше — только вплавь. Со склада после такого дня мешки с торфом вывозили на лодках, на них же и продукты подвозили.

И так до морозов.

Окошко в церкви засветилось желтоватым светом.

Хлопнула входная дверь, и через некоторое время три раза ухнул колокол и радостно зазвенели малые колокола. «Я тут бегаю, как лось, а у них там праздник», — зло подумал Алексей и еще раз обернулся, желая одного: чтобы за спиной никого не было, фрицы бы исчезли, а он оказался бы возле КПП какой-нибудь тыловой части...

Он знал, что скажет особисту: «Отступал с боями, упал от усталости, уснул и отстал. Оружия не терял, так как не имел — не положено по штату. Яростно бился за Родину. Вот книжка красноармейца, и вот всему сказанному подтверждение, — Алексей мысленно лезет в нагрудный карман и достает вещи фрица. — Это горный цветок — значок альпийского стрелка, нашедшего свою смерть в тверских болотах. А это его жетон... Наверное, диверсант... Где точно убил, не знаю, но там была деревня с церковью, а кругом болота...»

Но, увы, не дано человеку материализовывать мысли, превращая желаемое в действительное, а фантастику в реальность. Все, что он вынес из школы — чудес нет и не бывает: в цирке — фокусники, в церкви — шарлатаны.

То, что Алеха узрел, вернуло его к реальности.

По его следам шла цепочка немецких солдат. След в след. А командир у них осел: построил всех в затылок и погнал через болото, как баранов. «Ружье бы мне, хоть охотничье, и картечь — всех бы положил». Алексей невольно скосил глаза и понял, что недооценил офицера. Слева шла еще одна цепочка солдат, страхуя первую группу. И если первые уверенно наступали в Алешкины следы, то в крайней группе все время останавливались и прощупывали шестами почву.

И тут до него дошло. Если гонят — значит, за деревней нет хода. Или такой же торфяник, или, что еще хуже, топь. Утопить хотят. Суки мстительные. Рядового,

оставившего свою часть три дня назад, никто бы не повел в плен — не того полета птица. Пристрелили бы и все. И даже крапивою не закидали. Мороз пробежал по коже, и Алексею стало жалко себя.

Если бы не архиерей, лежал бы он сейчас в осиннике вместо того фрица. Спал ли он на ходу, или стоя дремал, Алешка не помнил. Последние несколько часов шел в забытии, сжимая в руке саперную лопатку, и все искал сухое место в сыром лесу. Он ли увидел фрица, или тот сам его толкнул, Смирнов тоже не помнил. И как ударил немца — не видел. Сработал рефлекс на окрик по-немецки. Махнул рукой под архиерейское благословение и снес гансу полголовы...

Алексей хотел прекратить эту игру, но не мог.

Животный страх сковал его, заставляя бежать от смерти, идущей по пятам. «Жить любой ценой», — стучало в его воспаленном мозгу. Лучше плен, чем могила. Перед глазами мелькнуло видение: полуистлевший, оскалившийся труп, покрытый мхом и грибами, между которых шевелится клубок червей. А еще плачущая мамка у окна...

— Я не хочу умирать! — Алексей вскрикнул и замотал головой. — Не хочууу!

Неведенье томило его, мучая и изводя до поноса. И если до этого дня боец Красной Армии Алексей Смирнов ни разу не подумал, что смертен, то сегодня он побил все рекорды по размышлению на тему «Что там и как?» Он не знал, чего ждать от смерти, и боялся ее. Как это так — взять и прервать нить жизни? А дальше что? Что потом? Тлен, прах, пустота... Что, он никогда не увидит солнца? Не будет дышать этим воздухом? Не услышит пения птиц? Но почему? На этот вопрос у него не нашлось ответа.

Когда-то в далеком детстве от дремучих старух он слышал про бессмертие души. Про Страшный суд. Про ад и рай. Кажется, тогда он во все это верил... Но потом стал наглым и хамоватым. Не для людей — для Бога, от которого отрекся, сорвав с себя крестик. И, что самое странное, людей он боялся больше Бога. Пересуды, взгляды, выговоры, увольнения и даже аресты — вот чего боялись все, и он в том числе. Люди — они рядом, а Бог... где он... и есть ли Он вообще?..

Тусклый диск солнца еле проглядывался сквозь темные, низкие тучи. Ветер поднимал воротник и шевелил волосы на голове. Пилотку Алешка потерял, а шинель бросил: сукно набухло, превратившись в камень, который он не мог уже тащить. Ветер принес обрывки чужой гортанной речи: немцы были на подходе, надо было спешить.

Солдат устало дернулся и побежал к церкви, проваливаясь по колено в грязь...

\* \* \*

Чернявая, коротко стриженная лопухая голова мелькала в оконном проеме. Вверх-вниз, вверх-вниз. Будучи хилого телосложения, Иван немного устал. Но все равно он радостно качался на бревне, соединенном пеньковой веревкой с языком колокола. От сырости веревка чуть провисла, и не всегда удар получался полноценным. Пришлось приловчиться, чтобы с одного толчка звон получался гулким и протяжным. Ванька три раза качнул бревно, прыгнул и, схватившись за веревки, стал трезвонить в малые колокола.

Как таковых колоколов не было.

Вместо большого колокола висела рельса, а вместо малых — два швеллера с привязанными к ним огромными гайками размером с кулак. Саперы выручили. За два лукошка яиц принесли и подвесили на колокольные. «Хоть какой, а все же звон», — сказал тогда отец Алексей и послал Дарью купить в деревне самогона. Без самогона солдаты не хотели тащить рельсу на колокольню.

Еще в 1929 году в целях борьбы с колокольным звоном, якобы мешающим не-

прерывной рабочей неделе, власть приняла решение об изъятии колоколов во всех церквях. На самом деле стране не хватало чугуна, меди, бронзы — и колокола, по мнению властей, должны были эту проблему решить. Конфисковывали повсеместно, как и положено, с яростным энтузиазмом. Проблему не решили, а церкви умолкли. А тут война. Вот и решил отец Алексей воспользоваться ситуацией.

Людам Бог в подспоре, в веру, в надежду.

А как узнать, что служба началась? Как позвать народ на литургию? Вот и придумал батюшка поднять на колокольню рельс, а чтобы разнообразить звон, туда же затащили и два швеллера.

Иван помнил, как его посвящали в церковнослужители.

Последнее время отец все время повторял: «Жатвы много, а делателей мало; итак, молитте Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою»<sup>1</sup>.

Начало войны подхлестнуло отца Алексея в решимости провести хиротесию<sup>2</sup> над средним сыном. Старший, Федор, был рукоположен в дьяконы еще в прошлом году, а вот с Иваном батюшка все тянул. Отец ожидал, когда сын возмужает умом и укрепит верою — слишком романтичным был у него характер. В голове одни индейцы и рыцари. А в церковном послушании как-то нерадив. Через три недели после своего возвращения отец Алексей нашел у него под подушкой «Айвенго» Вальтера Скотта. Книга лежала без обложки и титульного листа, но батюшка узнал ее. Года два назад дал почитать кому-то из детей в деревне, и вот Айвенго вернулся. Отец открыл, полистал, увидел размалеванного рыцаря, хмыкнул и спросил: «Не рановато еще читать про рыцарей?» — «Да нет», — как ни в чем не бывало ответил Иван и потупил взгляд. «А конника зачем разрисовал?» — «Это не я, но чужой грех беру на себя. Только не ругай Мишку».

Какого Мишку и за что его ругать, батюшка не понял, но услышанное потрясло его до глубины души, и он чуть было не свистнул, пораженный откровением детской души. «Это ты здесь почерпнул?» — спросил тогда отец и, закрыв книгу, протянул Ивану. — «Не все, но что-то и отсюда».

Ответ укрепил отца Алексея в решимости рукоположить среднего сына, чтобы он служил не как благословенный мирянин, а как церковнослужитель. Ввести его в клир как чтеца.

На следующий день отец Алексей написал письмо владыке с просьбой прийти и провести чин посвящения Федора в пресвитеры<sup>3</sup>, а Ивана в чтецы. Случилось это в четвертую седмицу по Пятидесятнице на двадцать третий день войны.

Всю следующую и часть шедшей за ней седмицы Иван по благословению отца бегал на станцию — на почту. Из-за болот, охватывающих Мхи подковой, приходилось делать крюк, и выходило почти десять верст. Десять туда, десять обратно. Так продолжалось всю неделю, пока почтальон не сказал: «Пляши!»

Кому отец писал, Иван понял лишь после того, как ответ был зачитан с амвона<sup>4</sup> в переполненной церкви. В тот день был двойной праздник: воскресенье и Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия». В маленькую деревянную церквушку набилась вся деревня, да еще пришлые из соседних сел. На сорок верст в округе из действующих церквей было только две: одна во Мхах, а другая аж в Торжке. Мужики стояли с повестками, бабы — с ладанками, иконками и крестиками. Те, кто не смог войти в притвор, ждали на улице, когда выйдут люди

<sup>1</sup> Мф. 9:37–38; Лк. 10:2.

<sup>2</sup> Хиротесия — возложение рук с молитвой для посвящения в чин низшего клира — в церковнослужители. Право хиротесии принадлежит епископам.

<sup>3</sup> Пресвитер — иерей, священник.

<sup>4</sup> Амвон — выступ в середине солеи (возвышенности перед иконостасом), напротив Царских врат.

и можно будет подойти к отцу Алексею за благословением: чтобы не убили, не умер от ран, не покалечили или, не дай Бог, в плен не попал.

Война всех заставила вспомнить о Боге.

Отец Алексей, облаченный по случаю большого праздника в белоснежную фелонь, зачитал письмо, полученное накануне из Лихославля. Он обязан был донести волю епископа до народа, потому что по канонам только архиерей мог провести чин посвящения.

*«Отец Алексей, по неким обстоятельствам, тебе хорошо известным, не имею возможности прийти к тебе, но горю сердцем исполнить просьбу твою. И так как нас весьма малое осталось число, с радостью принимаю от тебя известие о желании твоём посвятить Иоанна в церковнослужители. Возношу молитву к Господу с просьбой украсить священосца нескверными и непорочными одеждами, просветить его, чтобы он в будущем веке принял нетленный венец жизни. Постричь же власа его и возложить фелонь поручаю тебе, отче. Я же буду просить Господа Вседержителя освятить посвящаемого Иоанна как Своего избранника и даровать ему со всякою Премудростью и разумом совершать поучение и чтение Божественных писаний в храме Божием, сохраняя его в непорочном жительстве. Наметим с тобой общую молитву на литургию в праздник Смоленской иконы Пресвятой Матери Богородицы. Спаси, Господи, страну нашу и воинство ея от супостата, посягнувшего на веру православную. Да пребудет благословение Господне на всех и за вся. Аминь!*

*Архимандрит Сергей, д. Владычно, 20 июля 1941 г.»*

Отец Алексей дочитал, сложил письмо и сунул под фелонь. Ту часть послания, которая касалась старшего сына Федора, он не стал озвучивать, рассудив, что у него еще есть время, и, глядишь, на Рождество получится отправить сына в Лихославль.

Иван в последний раз дернул веревку, проследил взглядом, как гайка коснулась швеллера, и невольно обернулся, услышав одиночные выстрелы. От болот к церкви брел грязный солдат. Кто такой и откуда, звонившему не дано было знать. Единственное, что мальчишка понял (скорей почувствовал) — с этим человеком в их дом придет беда.

Чем ближе незнакомец подходил к колокольне, тем явственней пацан видел выцветшую гимнастерку с малиновыми петлицами на воротнике, грязно-серое галифе и сапоги, вымазанные чем-то бурым. В груди защемило: нашего, солдата, гонят немцы. Ваня никогда раньше не видел фрицев, но догадался.

Боец шел без оружия.

Он шатался и все время падал. Когда поднимался, спина сутулилась и руки свисали плетью, касаясь травы. Когда шел, ноги заплетались; он путался в них и снова падал. Он уже не мог бежать. Вставал, падал, снова вставал и шел... к церкви.

Ванька, подтянув руками стихарь<sup>5</sup>, сломя голову кинулся вниз с колокольни, чтобы успеть предупредить отца.

### ГЛАВА 3

Старшая дочь встала вместе с отцом.

Она видела, как он со свечой зашел в чулан, как поправил одеяло на малом, как гонял муху и крестил всех со словами «Господи, помилуй!», но не подала виду, что проснулась. Отец всегда переживал, если разбудит кого ненароком, и когда

<sup>5</sup> С т и х а р ь — богослужебное облачение, прямая длинная одежда с широкими рукавами.

была возможность спастись, говорил: «Спите, пока спится». Дашка дождалась, когда громыхнет щеколда в сенях, и только после этого спустилась с печи.

В кухне пол холодил ступни.

Из-за печи Дарья достала коврик. Расстелила на полу, встала на него ногами. Ворс был теплый, приятный. Дарья проверила задвижки — все ли так, как надо. Сей нехитрой премудрости внучку научила бабушка Аксинья, приговаривая: «Запомни, Дашка, русские печи — они угарные в неумелых руках. Следи за дымоходом, тяга пропала — пришла беда или святых будете выносить, или самих вынесут». Взяв кочергу, Дарья сдвинула горящие поленья вглубь горнила, по опыту зная: дрова прогорят через час, образовав скатерть из мерцающих углей.

Печь берегли: топили один раз в день, чтобы не перекалить, не разрушить и пожар не устроить. «Сколько народу из-за своей дурости погибло, жуть, — причитала бабушка Аксинья, наблюдая, как четырехлетняя Даша неумело высекает искры, ударяя кремнем о кресало. — И пожары были, и угорали, — продолжала старушка, орудуя ухватом. — Настелют одеял ватных на печь, натопят — и уйдут гулять на Рождество, дня на три. Придут — а от дома одни головешки».

Видя, что не получается у внучки добыть огонь, Аксинья сама брала огниво и ловко высекала сноп искры на сухой трутень. «Я готовить буду, а ты учись, тюкай и тюкай, авось пригодится когда-нибудь», — приговаривала бабушка...

Так и вышло.

Пришли времена — разжигают огнивом, стирают золой. Спички, соль, мыло и керосин пропали еще в июле. Вместо продуктов появился лозунг «Все для фронта! Все для победы!» Сей девиз не мог накормить, зато не оставлял надежды на скорое окончание войны.

Стараясь не греметь, Дарья подняла чугунок с картошкой, ставя в печь. Привалила заслонку и перекрестилась. С Покрова в деревню никто не навещался, и они не выходили. В Ранцево был базар, где меняли сало и мыло на соль и спички, но им нечего было предложить, а бесплатно там только матюки раздавали.

С тех пор как пошли дожди и болото поглотило дорогу, про Мхи забыли, поставив на оставшихся большой жирный крест. Так и жили лешаками, потихоньку справляя в храме ежедневную службу, благодаря Господа за прожитый день и вознося молитвы на день грядущий — за воинство, за победу, за усопших и за живых.

Знала, что твердая, но все равно потыкала ножом картошку. Так, на всякий случай. Пока вода не закипела, Дарья решила сбежать в церковь, посмотреть. Благо дом стоял почти вплоты к колокольне. На старшую дочь, кроме забот по дому, была возложена, по благословию, ответственность за порядок в храме. Отец не любил, когда не мыты полы или не убраны огарки с подсвечников. Вчера все вроде убрали, но на всякий случай надо еще раз глянуть — вдруг в темноте что-то да упустили? Дашка сунула ноги в холодные сапоги, натянула телогрейку поверх ночной рубашки, накинула на голову шаль и ловко прошмыгнула мимо отца, входящего в горницу. «Ты куда?» — «Я мигом», — крикнула дочь и растворилась в сыром утреннем полумраке.

Таня и Степка проснулись последними.

Поддерживая малою за руки, Танюшка помогла братику спуститься с печи. Слезла сама, взяла его за руку и потянула туда, где тепло, пахло картошкой и слышался веселый голос что-то рассказывающего отца. Печь прогрелась, в доме повеселело — и утро уже не казалось таким хмурым и холодным.

Степан тер глаза, зевал и все время озирался на теплую печь. Под одеялом всегда хорошо, и где-то там остался «тряпошный солдат», сшитый Дарьей специально по просьбе Степана: игрушка с огромной головой-буденовкой, похожей

на большую луковницу. К голове куклы была прикреплена звездочка, подаренная сапером — одним из тех, что в сентябре строили тут дорогу. Куда потом делся дядька-солдат, Степку мало интересовало, главное, что память о нем осталась и в данный момент лежала между двумя подушками, направив свои стеклянные пуговичные глаза в потолок. Степан знал: солдату на печи жарко, но, верный своему долгу, он терпеливо будет ждать, когда командира умоют, накормят, оденут и тот прибежит за ним, чтобы вместе идти в поход на Гитлера. У солдата не было имени, не было ружья, гимнастерки. Не было и профессии: танкист, сапер, летчик — солдат да и все. И ноги были у бойца ватные, негнущиеся, как и весь он сам...

Степан выдернул ладошку из Таниной руки, развернулся и пошел к печи. Солдата решил покормить, а то что же он за командир такой — сам ест, а подчиненного не кормит?

Мудростей армейской жизни Степка нахватался от саперов. Весь сентябрь он ходил на болото смотреть, как там стелют гать. На дороге малой проводил весь день, слушая нехитрый солдатский юмор. Там же ел, а днем спал в шалаше, накрытый солдатской телогрейкой. Оттуда он принес pilotку, звездочку, эмблему с топориками и самое главное — понимание, что командир — отец солдатам. А еще Степкина голова была забита всякими прибаутками, которых он нахватал, как паршивый кот блох. «Покорнейше благодарю, не нюхаю и не курю», — говорил он, проходя мимо сельмага, возле которого мужики толпились в очереди за махоркой.

— Эй, а умываться? — Танюшка растерянно остановилась, пожалла плечами, сморщила личико и развела руки от удивления.

— Неумытый и небритый на печи лежит забытый, — пропел «командир» и полез на печь за своим подчиненным.

Когда Степка пришел в горницу, где обычно обедали, взрослые уже разошлись. За столом, болтая ногой, сидела Танюшка, подперев щеку и лениво тыча вилкой в разварившуюся картошку, лежавшую перед ней на тарелке. На середине стола стояла миска с бочковыми помидорами — твердыми, зелеными, похожими на моченые яблоки. Там же, в тарелке, горкой навалена была капуста — белая и не закишшая еще. Рядом на деревянной подставке красовалось вареное яйцо. И все...

Степан обвел взглядом продукты, соображая, что можно дать подчиненному, чтобы не испачкался. Как командир он следил за бойцом и иногда поругивал, если тот во что-нибудь вляпается. Стирать солдата никто не хотел, отговариваясь фразой: «Твой солдатик — ты и стирай». А сам стирать Степка не умел.

— А где все? — спросил малой и полез на лавку.

— Ушли, — болтать не хотелось, и Танюшка отделялась короткими фразами, как печатная машинка: стукнет слово — и замолкнет. Настроение было паршивое: снов плохих Таня не видела или не запомнила, а вот чувство тревоги привалило, как только отец увидел ее, подхватил под руки и, приподняв, чмокнул в щеку со словами: «С добрым утром, дочка!» — «И тебя, папа, с добрым утром, — Танюшка улыбнулась, и невольно вырвалось у нее: — Ты холодный какой-то». — «Так не лето на дворе...», — отшутился отец и поставил дочь на пол. Холод был не уличный, другой, а какой — дочь не знала и промолчала. Такой холодной была мама, когда умерла. И вот теперь эта мысль не давала Танюшке покоя. Занозой засела в голове, не желая уходить.

Ее размышления прервал Степка.

— Кому яйцо?

— Тебе, — продолжая ковырять картошку, сказала сестренка.

— А ему что? — Степка уселся, выдернул из-под лавки тряпошного солдата и усадил рядом с собой.

— Дулю, — не глядя на солдата, Танюшка сжала кулак с выставленным большим пальцем и сунула кукле в нос.

Громыхнула щеколда, и из сеней в кухню прошла Дашка с ведром воды. Рев в горнице, всхлипывания в комнате, солдат на полу и развал на столе... Поставив ведро на табурет, старшая сестра наспех вытерла руки о полотенце и повернулась к малым.

— Ну и кто первый начал?

Дети молчали. Жаловаться и ябедничать были не приучены. Поняв свою оплошность, Дарья изменила тактику.

— Из-за солдата, да?

Дети продолжали молчать.

— Есть не хотел солдат... упирался? — Даша старалась подобрать ключи к детским сердцам. И, кажется, у нее получилось.

— О-о-он хотел, — навзрыд проговорил Степка, — то-о-о-лько она не разрешила ему е-есть...

Дарья взяла брата на руки, подняла солдата, и втроем они пошли в комнату, где на лавке плакала Танюшка. Дашка села рядом и притянула сестренку к себе.

— Чем тебе не угодил Степкин солдат?

Дава в себе всхлипы, Таня вытерла глаза и посмотрела на сестру.

— Он злой.

— Он не злой, он с печки упал, — размазывая слезы по лицу, запротестовал Степан, стараясь защитить свою игрушку.

Только сейчас Дарья заметила, что в том месте, где был нарисован рот, порвалась ткань. Вата вылезла, и солдат стал похож на маленькое зубастое пугало. Невольно радостная улыбка превратилась в злобный, нехороший оскал, полный белых ватных зубов.

— Рот мы ему зашьем, а вы больше не ссорьтесь, хорошо? — Дашка крепко прижала к себе брата и сестру. — Давайте мириться... Где мы, там любовь, а в любви нет места слезам и обидам. Кто так сказал?

— Папка, — Танюшка попыталась улыбнуться, вспомнила про отца, про его холодную щеку — и слезы вновь навернулись у нее на глазах.

Глухо ухнула рельса на колокольне — и тяжелый утробный звук поплыл над Мхами.

— Ваня уже в рельсу бьет. Нас зовет, — Дарья вытерла им щеки ладонью, потрепала по головам и, кивнув, позвала: — Пойдем?

— Пойдем, — одновременно крикнули младшие и кинулись одеваться.

\* \* \*

Из всех детей только старшие — Федор и Дарья — пошли в отца: такие же крупные, русые и скуластые. Остальные были в мать — чернявые и мелкие. Среди деревенских пацанов один Федор решался жонглировать пудовыми гириями. В честь былинного богатыря и дали ему прозвище — Попович. А так как в деревне принято всех называть по-дворовому, прозвище перешло на всю семью, тем более что оно полностью отражало род занятий отца Алексея и матушки Елизаветы.

Широко расставив ноги и свесив орарь через плечо, Федор стоял перед аналогом, на котором лежало зачитанное (не одним поколением Голиковых) Евангелие. Книгу много раз клеили и сшивали, но от ветхости она расплзлась сама собой. Молодой голос звенел в гулкой церкви. Из прихожан были только дети отца Алексея.

Еще в конце сентября деревня обезлюдела. Одних мобилизовали, другие записались в партизаны; тех, кто подлежал эвакуации, вывезли в город, а остальные

ушли сами — по мере того как приближался фронт. Во Мхах остались только Голиковы. Никому не нужны и всеми забытые. Властям не было никакого дела до попа и его семьи. А что до энкавэдэшников, то был негласный приказ: поповские семьи не вывозить. Немцы расстреляют — хорошо, не расстреляют — еще лучше, будет повод дырку для ордена проколоть. А чтобы с голоду не подохли, разрешили на брошенных колхозных полях копать картошку. Раскисшую и гнилую. На этом помощь от властей заканчивалась. Выживут так выживут, а не выживут — тем лучше. Меньше мороки.

Треск выстрелов заставил Федора отвлечься. Читая по памяти Священное Писание, он сбился и стал лихорадочно шарить глазами по книге, ища прочитанные строки.

— «И сниде буря ветреная в езеро, и скончавахуся и в беде беху», — раздался властный голос из алтаря. Отец Алексей слышал выстрелы и понял, что сын оробел.

Двух строчек и бодрого отцовского голоса хватило Федору, чтобы вспомнить текст. Он облегченно вздохнул и нараспев закончил:

— «И приступльше воздвигоша Его, глаголюще: Наставниче, Наставниче, погибаем. Он же востав запрети ветру и волнению водному, и улегоста, и бысть тишина. Рече же им: где есть вера ваша? Убо явшеся же чудишася, глаголюще друг ко другу: кто убо Сей есть, яко и ветром повелевает и воде, и послушают Его<sup>6</sup>?».

Первую половину службы завершили стройные голоса Дарьи и Танюшки: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе!»

Федор поцеловал Евангелие, плотно сжал разбухшую от старости книгу и понес к Царским вратам для передачи в руки священника. Он шел и считал: раз, два, три... Чувствовал внутри напряжение нервов. Видел сестру Дарью и маленькие детские ладошки, вложенные в ее руки. Слышал, как в алтаре зазвенело кадило и запахло успокаивающим ладаном. Сколько должно пройти времени, прежде чем хлопнет дверь и сюда войдут? Четыре, пять, шесть... Дверь не хлопнула — она саданула с размаху коробкой о косяк с такой силой, что святые на стенах вздрогнули.

На пороге стоял Иван — перепачканный сажей, с ружьем и коробкой патронов. От удара поток сырого воздуха ворвался в храм, гася свечи. Дверь протяжно заныла, возвращаясь на свое место, и, подпираемая все тем же потоком воздуха, плотно закрылась. Горящие лампы не давали света, а то, что проникало в маленькое запотевшее окно, лишь разбавляло темноту, превращая ее в полумрак.

— Немцы! — крикнул Ваня и, надавив на колено, переломил охотничий гладкоствол. Загнал патрон в патронник и щелкнул ружьем, приводя его в боевую готовность. — Солдата нашего гонят, убить хотят.

Ружье висело в доме за печкой. «Успел сбежать, сорванец», — глядя на сына, отец Алексей сошел с амвона и поманил Ивана к себе.

— Не для тебя ли сказано: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут»?

Взял у сына ружье, вынул патроны из ствола, захлопнул двустволку и со словами: «Пойди спрячь», — показал на лавку, стоящую у стены.

— А ты, — кивнул Дарье, — скатертью накрой, да край свесь, чтобы не увидели, — отец явно был расстроен. Не тем, что сын несдержан, а что непредсказуем. Нет в нем кротости и смирения. Глядя, как Иван сует ружье под лавку, изрек: — Подходите все. Благословлю вас... и будем прощаться, — батюшка перекрестил.

<sup>6</sup> Лк. 8:23–25 (тексты, которые читаются во время службы, приведены на церковнославянском языке, все остальные даны в синодальном переводе для удобства восприятия читателем сути происходящего).



ся и поманил детей. Те замерли, боясь переспросить: зачем прощаться? Робко подошли и встали вокруг отца.

Отец Алексей начал с младших.

Целовал каждого троекратно в щеки и в лоб, прижимал к себе, трепал по волосам, брал детскую руку в свои ручищи и целовал — словно не он благословлял, а сам брал благословение. Крестил и со словами «Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа» отстранял, чтобы обнять, потрепать и благословить очередное свое чадо.

Услышав про солдата, отец Алексей понял: сон в руку. Не было только ангелов и херувимов. «Но как только — так сразу, за ними не заржавеет...» — пронеслось в голове, и батюшка перекрестился, гоня от себя некстати явившиеся мысли. Что делать и как себя вести, священник не знал. Если бы ночью пришли чекисты, он, наверное, меньше бы растерялся, чем сейчас. Ареста он ждал каждый день, а тут... как-то все непонятно... странно и немного страшновато. Он боялся не смерти... встречи.

— Господь милостив, Он подскажет, Он научит, — прошептал отец Алексей, устремляя взор поверх иконостаса — туда, где в лучах утреннего солнца сиял Спаситель. На ум пришли строки из Евангелия от Луки: «Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет<sup>7</sup>». Батюшка помолчал, вспоминая события страстной пятницы, и продолжил, возвышая голос: — Как Ты не послушался Отца Своего, так и я, раб Твой, не слушаюсь Тебя — Сына Божьего. Об одном прошу: вот чада мои неразумные — сбереги их. Не для меня, ибо я уже не в мире, для Себя сбереги.

— Может, они и не за тобой, — робко предположил Федор, теребя ворот. Ему было душно, давила тоска, и хотелось скинуть тяжелый, расшитый крестами стихарь.

— Если не за мной, то за кем? За тобой? — отец посмотрел на старшего сына. — Или за ними? — кивком головы показал на младших детей, ластящихся к нему, как котят. — Обнимите меня и не плачьте, ночью поплачете, — отец Алексей сгреб всех разом, притянул к себе и стал лихорадочно чмокать детские макушки, втягивая ноздрями такие родные и дорогие ему запахи. Целовал и наставлял: «Только не сорьтесь, живите в мире и любви, как Господь наш Иисус Христос завещал. Как мы с матерью вас учили, так и поступайте: по совести и по доброте. Да пребудет с вами Божья сила и благодать». Батюшка сдерживал слезы, боясь показать их детям, но они все поняли — захлюпали носами, захныкали и зарыдали в голос, как по покойнику...

## ГЛАВА 4

Фельдфебель Литке с молчаливого согласия Фридриха, который в бинокль разглядывал деревню, дал команду соорудить из подручных средств настил. Пачкаться в грязи никто не хотел, и немцы с радостью принялись вырубать молодые деревья, росшие вдоль насыпи. Егеря стучали топориками бойко и шумно, чувствуя себя здесь хозяевами. И то, что здесь был русский тыл, их только забавляло.

Диверсионная группа, состоящая из четырнадцати молодых, рослых егерей, перешла линию фронта три недели назад. Их задача — ликвидация техники и малых групп противника, дестабилизация обстановки, создание паники и уничтожение комсостава. Сейчас их осталось тринадцать: офицер, фельдфебель и одиннадцать солдат. Четырнадцатый — радист Шульц — был похоронен в безымянном русском овраге.

Группа возвращалась с очередной диверсии — не за линию фронта, как положено, а наоборот, вглубь, в тыл советской 22-й армии, туда, где у них была леж-

<sup>7</sup> Лк. 22:42.

ка — несколько шалашей, спрятанных в лесной чаще вдали от дорог и партизанских троп. За пятнадцать дней группа Фридриха пустила под откос два эшелона с танками, которых катастрофически не хватало Красной Армии; подорвала один железнодорожный и два автомобильных моста; сожгла колонну колхозных тракторов, вывозивших зерно; уничтожила восемь грузовиков с новобранцами, убив около сотни безоружных бойцов; закидала гранатами и расстреляла две «эмки» с начсоставом и мотоциклистами сопровождения. Добытой информации — карт, отчетов и донесений — хватило Шульцу на несколько радиосеансов с Центром. Ober-лейтенант мог гордиться этим рейдом и мысленно уже колол дырку для Железного креста. Такие впечатляющие результаты — и без потерь...

И надо же было наткнуться на этого русского!

Фридрих был зол. Во-первых, он не нашел на убитом солдатского жетона и понял, что его забрал красноармеец. А во-вторых, они остались без радиста и без рации, которая разбилась при падении Шульца на дно оврага.

Подчиненные не роптали, но было легкое недовольство Фридрихом. Вместо того чтобы пускать под откос составы с танками и расстреливать автомашины, они с утра бегают за полоумным красноармейцем. Несколько раз командиру предлагали срезать русского из снайперской винтовки, но ober-лейтенант был против. Шульц приходился Фридриху родственником, и командир поклялся отомстить. Не убить, а отомстить: засунуть вальтер в рот красноармейцу, посмотреть в его перепуганные глаза и нажать на курок... И еще он просто обязан был забрать жетон. Медальон смерти состоял из двух половинок; в случае гибели солдата жетон разламывали, одну часть отправляли семье для начисления пособия, а другую хоронили вместе с погибшим.

Пока рубили деревья и стелили тропу, большая часть фрицев развлекалась тем, что наблюдала за красноармейцем. Егеря гоготали в голос и делали ставки сигаретами на то, сколько раз упадет русский и дойдет ли он вообще до церкви.

Возле крыльца Алексей оперся на резной столб. Постоял и попытался взойти. Шаг, еще и еще... Ватные ноги не хотели держать тело, и красноармеец, споткнувшись о последнюю ступеньку, рухнул на настил. Подняться уже не смог... так и пополз по крыльцу, пока не уткнулся в косяк.

Толкнул головой дверь и перебрался через порог со словами: «Помогите Христа ради... погибаю». Обвел взглядом темное убранство, не замечая икон, святых ликов, стоящих людей. Он не видел ничего. Лишь только свет лампад, мерцающих в глубине храма, указывал ему путь туда, где, по его разумению, должно было быть спасение. Солдат оттолкнулся — и из последних сил, шлепая мокрыми руками по полу, пополз к алтарю.

Чужак принес страх.

Глядя на мокрого, грязного человека, ползущего к ним по притвору, ребятишки затихли, размазывая слезы по щекам. Ужас закрался в детские сердца, заставляя вцепиться пальчиками в жесткую отцовскую фелонь.

Первым заскулил Степка. Он видел, как по полу тащится темный след, и ему казалось, что это след Левиафана, о котором недавно на печи перед сном рассказывал Ваня: «Он кипятил пучину, как котел, и море претворяет в кипящую мазь; оставляет за собою светящуюся стезю; бездна кажется сединою. Нет на земле подобного ему; он сотворен бесстрашным; на все высокое смотрит смело; он царь над всеми сынами гордости<sup>8</sup>...» Степан непроизвольно вздрогнул и прижался к отцу, ища в нем защиту. Глядя на братика, затрепетала и Танюшка, схватила отца за палец и стала трясти, приговаривая:

<sup>8</sup> Иов. 41:23–26

— Папа, папа, прогони его, я боюсь!

— «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу, и тело погубить в геенне<sup>9</sup>».

Солдат не дополз до Голиковых метра три. Свернул к стене и лег на пол, прямо под образом Николая Угодника. словно здесь его место, будто сюда он бежал все утро, ведомый старичком-архиереем.

В церкви было хорошо, тихо, трещали свечи, пахло ладаном, который стал дымить в висящей на крюке кадилнице. Угли разгорелись, питаемые проникающим через неплотно закрытую дверь сквозняком, ладан затаил и заблагоухал, расточая аромат сосновых смол. Луч солнца коснулся детских лиц. И совсем не страшным оказалась этот солдат. Лежит смиренно, не царапается, не кусается, только дышит тяжело.

Автоматная очередь сорвала пелену умиротворения. Пули ударили по окнам, засыпая пол битым стеклом. Дети завизжали, солдат дернулся и привстал, силась подняться. Увидел священника и стоящих вокруг него детей. Солнечные лучи падали на семейство, и дети представлялись ему ангелками, окружившими архиерея. Алексей протянул руку. Рука тряслась, как и голос.

— Старик, я видел тебя сегодня... спаси, умоляю. Они убьют меня... — пальцы коснулись пола, солдат приподнялся и сел боком, навалившись на левую руку.

— Крещеный? — спросил батюшка с надеждой, желая только одного: чтобы солдатик не оказался нехристом, выросшим в семье новоиспеченных атеистов. Помочь православному или помочь безбожнику? Господь завещал любить всех, ставя в пример доброго самаритянина. Но отцу Алексею почему-то важно было знать, за кого он претерпит страдания.

— Да, — прохрипел красноармеец, пошарил рукой на груди и соврал: — потерял крестик.

— Живи с миром! — в голову отцу Алексею влезла заповедь: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих»<sup>10</sup>. С последней строчкой пришла уверенность, что он все понял правильно. — Иван, закрой дверь на засов. Федор, помоги, — священник поднял руки, предлагая снять с него фелонь. Только что читали Евангелие, и батюшка был без камилавки, которую полагалась снимать.

— Батя... — Федор хотел возроптать: литургия была не закончена. Фелонь до окончания службы не снимали, разве только священник решил сложить с себя сан.

— Не перечь мне, — отец был непреклонен. — Судьба моя такая. А ты, — крикнул батюшка солдату, — снимай тряпье свое, живо. Да помогите ему кто-нибудь Дарья, Танька, стяните с него рубаху, портки, сапоги. Все тащите... Господь милостив, успеем!

— Ничего не выйдет. У него бороды нет, — Федор понял, что задумал отец, и, складывая фелонь, кивнул на ошалевшего, ничего не понимающего солдата.

— О Боже! Этого еще мне не хватало, — отец Алексей глянул на красноармейца, на его щетину и перекрестился. — Прости меня, Господи, что все помянул Тебя... Дарья, скипидар подай и свечу... и тряпку захвати, — крикнул он дочери, стащил епитрахиль и принялась разматывать поручи. Про стрижку на голове не беспокоился. Из тюрьмы он вышел наголо бритый, а учительная время, возраст и старческую плешь, волосенки не хотели расти, и за три месяца он покрылся лишь небольшой русой порослью.

Чего только отец Алексей не передумал за эти секунды! «Зачем спасать солдата? Зачем весь этот цирк с переодеванием? Не проще ли продолжить литургию

<sup>9</sup> Мф. 10:28

<sup>10</sup> Ин. 15:13

как ни в чем не бывало? Словно и не сбегал никто, но просил защиты... Ну походят немцы по храму, потопчут сапогами полы мытые... может, что и заберут — не убудет. Краем уха батюшка слышал, что немцы священников не трогают. Якобы приказ такой у них имеется. На оккупированных территориях даже храмы открывают. Надо-то всего лишь отойти от солдата в сторонку и постоять молча, тебя крест нагрудный... Выведут немцы красноармейца из церкви и шлепнут. Из церкви... Господи, помилуй! — отец Алексей испуганно перекрестился. — Из дома Божьего... выведут и убьют того, кто искал защиты у Господа. И кровь та будет на нем, на настоятеле сего храма... Протоиерей Иуда, — батюшка аж вздрогнул от такого сравнения. — И не отмыться, не оправдаться никакими словами... Мол, у меня семья, дети... Так и у него дети, нет — так будет, а может, уже и есть... годами вроде не пацан, мужик взрослый, — отец Алексей скользнул взглядом по красноармейцу, с которого Федор стаскивал сапоги. На вид лет тридцать, не больше. — А он... что он скажет детям?.. Детям-то, возможно, и получится объяснить, а вот Господу... Как оправдаться, что попустил, что не спас, не укрыл? А если спрятать? В церкви найдут. В деревне тоже... Дома по пальцам пересчитать можно, погребов и сеновалов столько же: перероют, а найдут. Всех расстреляют — и его, и детей, и красноармейца... И храм сожгут».

Один выход видел отец Алексей: как Симон Кириянин взвалил на себя крест Господень и понес, так и он должен принять обличие солдата, оставив ему одежды свои. Что сказать красноармейцу, батюшка еще не знал, веруя, что когда дойдет до этого, Господь подскажет.

Дарья подошла платок и бутылку со скипидаром. Подошла со свечой и встала рядом младшенькая. Батюшка перекрестился, плеснул едкую, противно пахнущую жидкость на ткань и задержав дыхание приложил к бороде. Отдал платок старшей дочери и взял из дрожащих ручонк Танюшки свечу. Закрыв глаза и ткнул в бороду...

Он не закричал, потому что не посмел.

Пламя и легковоспламеняющаяся жидкость сделали свое дело. Как от сжигаемой стерни остаются черные обугленные былинки, так и от бороды отца Алексея осталась обгоревшая щетина, обожженное красное лицо, и в храме повис удручающий запах спаленных волос.

На улице истошно лаял Тугрик.

Пес каждый день провожал детей до церкви и всегда терпеливо сидел на крыльце, ожидая, пока закончится служба. Сейчас собаку кто-то спугнул, и она требовала освободить свое законное место или просто учуяла чужих. Лай то нарастал, то затихал. Пес метался по двору, защищая хозяйское имущество.

«И чего он брешет?» — посланный отцом закрыть дверь Ванька выглянул в щель и замер. Так близко он фрицев не видел никогда. Немцы курили, сидя на ступеньках крыльца. Мордастые, в кепках с козырьками, в грязно-пятнистых брезентовых куртках с капюшонами. На шеях вместо шарфов шерстяные платки. Рядом стояли их ранцы, квадратные и тяжелые. Автоматы на коленях и ноги по колено в такой же рыжей жиже, что и у красноармейца. «За солдатом шли, по болоту... И как только не потонули, сволочи...» Фашисты сидели вальяжно, словно у себя дома, облокотившись на столбы, подпирающие навес над крыльцом. Время от времени относили сигарету в сторону и выпускали изо рта струйки дыма в хмурое серое небо. Говорили негромко, на своем, на тарабарском, так что Иван ничего не понял. Зато он услышал, как заняли ступеньки на колокольне: по лестнице поднимались двое. Ванюшка это понял по скрипу: песня была рваной, немцы топтали вразнобой, создавая мешанину из звуков. Когда Иван сбегал на колокольню, ступеньки пели, сейчас они стонали. Еще троих он заметил возле своего дома:

стояли в палисаднике, заглядывая в окна. Туда же умчался и Тугрик, требуя от незваных гостей убраться по-хорошему.

Итого семеро. Кажется, на насыпи их было больше...

Проверить свою догадку Иван не успел. К крыльцу подошел еще один фриц: рыжий, коренастый, с узким лицом и тонкими жесткими губами. На руках перчатки, спереди на ремне кобура, офицерская сумка через плечо и ранец по размеру гораздо меньше тех, что стояли на крыльце. Ванька догадался — офицер. Вместо платка торчал ворот толстого вязаного свитера. «Таким и должен быть диверсант, — подумал мальчишка, — наглый, самодовольный и упакованный». Ноги затекли, Иван остушился, наваливаясь на дверь. Дверные петли пискнули, привлекая внимание. Пальцы сидящих машинную дернули затворы, но выстрелить в мальчишку немцы не успели. Увидев чернявую детскую голову, выглядывающую в щель двери, офицер вскинул руку, останавливая егерей, коротко бросил: «Юнге, шоколаде!» — и сунул руку за пазуху.

Ивана пробил холодный пот. «За пестиком полез... Убьет сейчас». Ванька дернулся назад, крестясь и падая в церковный полумрак, толкнул ногой дверь и, встав, с силой загнал засов в скобу.

На крыльце загоготали.

Ветер нагнал тучи, и они вновь укрыли Мхи тяжелым, холодным покровом.

С колокольни просматривалась вся деревня. За крайними домами виднелась узкая просека, выводящая к торфоразработкам. В той стороне был бор — темный, шумный. Оттуда же приходила дорога, заставленная брошенной техникой. В другую сторону видимого пространства было больше, но оно представляло собой унылую кочковатую равнину с одиночными кривыми деревьями, зарослями камыша и с бездонными проплешинами рыжей воды.

Литке расстелил карту и ткнул пальцем в тонкие синие полоски, на языке топографии обозначавшие заболоченные места. Местное болото не имело имени, и он прочитал название ручья: Бурчалю. Фельдфебель поднял бинокль, осматривая окрестности. Судя по настилу, резко уходящему на дно болота, хода в ту сторону не было, иначе русские достроили бы дорогу.

Было тихо, но именно это и беспокоило Литке.

Выстрелы могли привлечь партизан и части НКВД, создаваемые противником в своем тылу специально для ликвидации диверсионных групп. Унтер-офицер еще раз посмотрел карту. От предполагаемого места оперативного действия группа отклонилась на пятнадцать километров, загнав сама себя в ловушку. И все из-за проклятого русского, который убил Шульца.

— Карл, — фельдфебель повернулся к рядовому, выставившему ствол MG-34 в проем колокольного окна, — возьми двух солдат и дуйте к крайнему дому. Если появятся русские, задержите их, пока мы будем уходить той же дорогой, что пришли.

— Слушаюсь, — без лишних слов здоровяк взвалил двенадцатикилограммовый пулемет на плечо и не спеша пошел вниз.

— И пусть придет Зигфрид, сменит меня, — крикнул Литке вслед спускающемуся по лестнице Карлу.

— Понял, — донеслось снизу. Глухо ухнула входная дверь, и рядовой зачавкал по грязи в сторону поповского дома — единственного жилого во всей деревне, в котором и расположились егеря.

Фридрих посмотрел на часы.

Прошло семь минут. Достаточно, чтобы исповедаться, помолиться и приготовиться к смерти. По своей натуре обер-лейтенант был милосердным, это в основном касалось веры, своей или чужой — без разницы. «Бог един», — всегда повто-

рял Фридрих, проезжая пыльными русскими дорогами мимо горящих церквей. Он смаял сигарету, затушив о перила и поднявшись по ступеням, подошел к закрытой двери. Рука легла на массивное кольцо. Офицер отвел дверной молоток и ударил металлом о металл, требуя впустить.

Удар в дверь напомнил отцу Алексею, что за люди стоят за церковной стеной. Морально он бы готов к встрече, но под гимнастерку успел забраться липкий предательский холодок. Батюшка вспомнил строку из Матфея: «Дух бодр, плоть же немощна<sup>11</sup>», — перекрестился и придирчиво осмотрел красноармейца. Тот стоял в новом обличи, держась за аналой<sup>12</sup>, который ходил ходуном. У солдатаки от страха клацали зубы, да так, что Степка зажимал уши руками. Худой, небритый, с впалыми щеками, в черной рясе, с крестом на груди, бывший красноармеец был похож на молодого высокого монаха. Отец Алексей не разрешил надевать ему на голову камилавку и велел принести скуфью — мягкую круглую шапочку. Головной убор довершил картину преобразования.

Священник остался доволен увиденным.

— Видит Господь, не в угоду себе и делам своим, а ради любви Твоей, Господи, благословляю раба Божьего... назови имя свое...

— Алексей, — выдавил солдат.

— Вот тебе и на! Тезка, значит... — сказанное буквально прошло отца Алексея, укрепив его в правоте и вере, что Господь обратит взор и пошлет благодать на красноармейца в рясе и с крестом. — Благословляю Алексея на дела добрые и праведные, супостатов бить и Родину защищать, — и добавил тихо, чтобы только боец слышал: — Семью мою не оставь. Защищай, как я тебя защитил, а когда все кончится, одежды сними и сыну моему Федору отдай, он приберет. С тем и благословляю! — батюшка перекрестил и коснулся кончиками пальцев скуфейки. Помолчал и добавил, как бы представляя детей: — Федор, старшой мой, это Ваня, Танюшка со Степашкой и Дарья, красавица. Теперь они твоя семья. Будь им хорошим отцом. А вы, дети, слушайте своего нового папку...

Зачем отец Алексей это сказал, он и сам не знал. Значит, так надо было.

Благословлять батюшка мог, пользуясь полномочиями, данными ему по чину. Он не имел права возводить в священники: и по сану не положено, и из обстоятельств, какие бы ни были. Не священник, а только архиерей мог рукополагать в священнослужители. Вот за этим он и собирался отправить старшего сына к владыке Сергию — чтобы тот его в священники возвел. А что позволил солдату надеть крест свой нагрудный и одежды священнические, в том отец Алексей не видел большого греха. Ибо на все, что он делал, было не его желание, а воля свыше.

А вот с Федором он не успел...

Время такое, что порой целые округа оставались без священников, а паства — без поводыря. Попов забирали семьями — с детьми, с имуществом. Погрузят на подводы, вывезут за село — мол, в ссылку, в глухой балке возьмут и расстреляют без суда и следствия, а одежды сядут и поделят. И стоит храм, пустует, пока сельсовет под свои нужды не займет. «Храм без настоятеля — сирота», — находясь в узилище, отец Алексей не раз слышал эту поговорку.

Соберутся священники и архиереи в камере и спорят: может ли в гонениях на церковь священник рукополагать священника, а епископ епископа единолично? Одни говорили — нельзя, при хиротонии в епископы должны присутствовать три епископа, а устав церковный превыше всего. Другие утверждали — можно, чтобы

<sup>11</sup> Мф. 26:41

<sup>12</sup> Аналой — подставка или столик для чтения духовных книг.

не вырвали стены церковь Христова, и добавляли: «Антихрист не за горами — за кремлевскими стенами». — «Хорошо, — шли на попятную те, кто стоял за устав, — но пусть заручится епископ на то согласием еще двоих епископов, письменным или устным, и тогда рукополагает достойного». — «А если не найдет поручителей, — вставляли веское слово оппоненты, — то единолично, как святитель Григорий Чудотворец Неокесарийский во времена тяжелых испытаний для Церкви был рукоположен во епископы единолично Федимом, епископом Каппадокийским, и как Афанасий Великий во дни гонений от ариан, возвращенный из заточения, проходя через города, единолично рукополагал, не стесняясь». И добавляли тюремные сидельцы: «Как отцы наши поступали, так и мы поступим. А священник в священники не может рукополагать. Церковь у нас Апостольская, и как апостолы ставили епископов, так и епископы расставляют священников. И баста!»

— И баста, — еще раз повторил отец Алексей, как бы подводя итог всему произошедшему. Ладонью потер опаленные, пахнущие гарью и скипидаром щеки и пошел, ковыляя, к окну. Сапоги были малы и жали. «Это ненадолго», — утешил себя батюшка и встал возле икон — возле своих родных тверских святителей и чудотворцев... Перекрестился сам, осенил стоящих в полумраке детей и опустил ся на пол со словами: — Открой, что ли, Ваня... — И зашептал, стараясь побороть навалившийся на него страх: «Матерь Божья, Богородица, не оставь меня, грешного, уприси сына своего, Господа моего, Бога нашего, дать мне силы перенести все, что ждет меня, и избави от страха за детей моих».

Слушая, как стонут половицы под шагами вошедших в храм немцев, подумал: «Сколько лет церковь простояла, а полы в храме никогда не скрипели... и вот те на, сегодня занули — да так, что душу на веретено наматывает». Не поднимая головы, еще ниже склонился отец Алексей и мысленно с усердием стал перечислять имена святых: «Угодники Божьи: святой Симеон, первоeпископ земли Тверской; преподобные Макарий и Савва и преподобный Нил Столобенский; святитель Варсонофий, чудотворец Казанский, и святитель Феоктист, убиенный безбожными поляками... помолитесь за меня...»

Всего в соборе тверских святых числилось около сорока канонизированных преподобных, блаженных и святителей, и если бы отец Алексей успел, он перечислил бы всех и каждого уприси прийти и встретить его. Но батюшку прервали — грубо, беспардонно, как и положено по-немецки — носком ботинка по ребрам и с «лаем».

«А ботинки у него хорошие... ишь, подошва какая рифленая... наверное, горные», — мелькнула мысль и тут же уступила место боли. Отец Алексей поднял руку, пробуя, целы ли ребра.

— Ауфштейн<sup>13</sup>, — глядя на понуро сидящего солдата, Фридрих понял, что тот его не понимает, и перешел на русский. — Встать! Русская свинья. Ты убил солдата Великого рейха, и ты...

— Ну, убил и убил, беру чужой грех на свою душу, — пробурчал отец Алексей, поднимаясь с пола, и подумал о двух вещах: первое — его точно убьют... и второе — зря все это затеял... Убьют, скорее всего, всех... и детей, и солдата... как курят порежут и церковь сожгут. Хотел перекреститься, вскинул руку — и замер, не донеся сложенных перстов до лба. Мысль буквально пронзила его: «А ведь поймет офицер, что он поп, что подмена тут, глаза у него умные и взгляд, как у ястреба. Ишь, как зыркает по сторонам: то на него посмотрит, то на спину монаха, то на детей...»

Персты сами сложились в дулю, и батюшка, плюнув на пальцы, с криком: «На, фашистская морда, жри!» — сунул фигу немцу в лицо, под нос.

<sup>13</sup> Aufstehen (нем.) — «встать».

## Рассказ про отца Алексея и о том, что произошло с ним сразу после смерти

То, что почувствовал отец Алексей, было похоже на сброс пара из перегретой паровой машины. Произошел именно сброс, а не травление — батюшка буквально взлетел к потолку, кубыркнулся с непривычки, потеряв ненадолго координацию, выровнял тело и повис в метре от пола, с любопытством разглядывая мужика в гимнастерке, лежащего в луже крови в окружении военных и кучки заплаканных детей.

От крови тянулись язычки пламени, трепеща, пересекаясь и отклоняясь в сторону от притвора, откуда тянуло сквозняком через неплотно прикрытую дверь. Они что-то рассказывали, торопясь и перебивая друг друга. И понял батюшка вмиг, что имел в виду Бог, говоря Каину: «Что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли<sup>14</sup>». Священник испугался того, что познал, и от страха хотел вернуться в свое тело, но не смог. Какие-то силы удержали его на месте, не дав подлететь поближе. словно невидимая стеклянная стена ограждала один мир от другого.

Дверь была закрыта — и навсегда.

В новом мире все по-другому. Успокоившись, отец Алексей осмотрел себя. Плоти в привычном ему понимании не было, она осталась лежать в другом мире. Сам же батюшка представлял собой некое размытое свечение, по форме напоминающее человеческое тело — с руками, ногами и головой. Для священника, который всю жизнь и сам верил, и призывал прихожан верить в бессмертие души, сие перевоплощение не стало неожиданным открытием. Наоборот, позволило с облегчением выдохнуть: сбылось.

Постепенно пришло осознание, что он такой же живой, как и пять минут назад. Он видел, слышал, чувствовал, мог думать и осязать.

Повернулся вправо, потом влево, шаря глазами по храму в поисках того, кто должен был прийти за ним. И нашел. Смерть стояла в темном углу возле кануна<sup>15</sup>, на котором, как назло, не горела ни одна свечка. Темная фигура в длинном черном плаще с капюшоном. Как и положено, сложив руки на груди, со склоненной головой, тихая и покойная. Батюшка отметил, что Смерть была без косы, которой косят, и невольно спросил сам себя: и давно она здесь? И тут же получил мысленный ответ, пришедший из темного угла: «С первой пулей».

Вот и все, вот и конец. Схватит сейчас в охапку и потащит на суд...

Невидимая рука легонько хлопнула отца Алексея по спине, отверзая уши к гласу, идущему сверху: «В суд она не вводит, она лишь вестник. Придут другие... Но ты не бойся. Суда не будет. Пострадавший за Христа — не судим и не судится, убитый за веру — не судим и не судится, отдавший жизнь за други своя — не судим и не судится».

Душа переполнилась радостью от близости встречи с Богом, и все мирское враз оставило раба божьего Алексея, перестав волновать. Дом, хозяйство и даже приход ушли в небытие. Некрашенные купола, любимые книги, свечной пресс, о котором он мечтал — все стало тленным и ненужным. Встреча с Богом — вот что волновало его прежде всего. Как он предстанет, что скажет, кто придет и заступится ли за раба Божьего Алексея, и найдется ли оправдание ему...

К батюшке вернулась память, а с ней и связь с земным.

Но эта связь была иного рода — не материальная, скорее эфемерная. Он видел

<sup>14</sup> Быт. 4:10

<sup>15</sup> Канун — панихидный столик с изображением Распятия и ячейками для свечей, которые верующие ставят об упокоении близких, родных и знакомых.



в храме детей, и любовь открыла ему сердце — кто они, что там делают и чего ждут. «Федька, Ванюшка, Дашка, Танюша, Степка... любимые мои, родные... — зашептал он, разглядывая их заплаканные лица. — Ну что же вы плачете, ваш папка здесь, рядом с вами. Вот явятся ангелы — и я упрошу их, чтобы вас ко мне забрали. Я люблю вас и не оставлю», — отец Алексей почувствовал некую силу, питающую его, и познал, что здесь он может сделать для своих чад гораздо больше, чем там, на Земле.

Только сейчас он понял, что такое любовь: как он сам не раз говорил — некая внутренняя связь с человеком.

Понял потому, что увидел.

Святящиеся нити связывали его с теми, кого он любил. Невидимые в том мире, но видимые в этом. Тонкие волокна, словно паутины, тянулись к детям. Отец Алексей протянул руку к красноармейцу — и те же нити, но более тусклые, потянулись к стоящему на коленях человеку. Священник перевел руку к офицеру, прячущему пистолет в кобуру, и не увидел волокон. Пустота лежала между ним и тем, кто его только что убил.

— А ведь получилось... жив Алешка и дети живы! — крикнул батюшка, но его никто не услышал, а следовательно, не посмотрел в его сторону. — Не видят! — с досады настоятель махнул рукой и повернулся на звук донесшегося до него пения.

Казалось, что распев лился с небес.

Улавливаемая крестом, словно громоотводом, мелодия собиралась над куполами и, усиленная сводами, спускалась к самому алтарю. Отцу Алексею даже показалось, что и ангелы не смогли бы так спеть — до того пение было нежным и мелодичным, одним словом — божественно-завораживающим. Он узнал текст и понял, что звучит Небесная Неусыпающая Псалтирь. «Святые угодники и покровители земли Русской молятся, — подумал батюшка. — Поминают и живых, и усопших, неустанно, день за днем, и так — целую вечность». Глаза наполнились слезами восторга, и ему показалось, что он даже всхлипнул.

— Ну что ты, отец Алексей, радоваться надо, а ты плачешь!

— Так плачу от радости, — сказал батюшка и осекся. Во-первых, он говорил, и хотя голос звучал необычно, но по-земному, словно шелестел ветер, тем не менее, это был звук, который колебал эфир. И, во-вторых, перед ним стояли два ангела. Хотел спросить: «Кто вы, Силы небесные?» Очень ему хотелось узнать их имена, но из скромности батюшка промолчал.

Ангелы могли все!

Для этого их и создал Господь. Видя смущение сына человеческого, они не стали тянуть и сами представились отцу Алексею.

— Не терзай душу, ты знаешь нас. Я дан тебе от крещения, — свет от ангельской руки коснулся левого плеча, и Божий вестник в почтении склонил голову. — А он, — свет поплыл и коснулся второго ангела, — дан храму сему от освящения.

Батюшке сразу вспомнилась книжка<sup>16</sup>, которую он читал, будучи еще семинаристом. Названия отец Алексей не помнил, да и не было у книги обложки. Зато в памяти четко всплыли строчки из того повествования: «Однажды в воскресный день авва Леонтий, настоятель киновии<sup>17</sup> святого Феодосия, пришел в церковь для приобщения Святых Тайн. Войдя в храм, увидел он Ангела, стоящего по правую сторону престола. Пораженный ужасом, авва Леонтий удалился в свою келию. И был голос к нему: «С тех пор как освящен этот престол, мне заповедано неотлучно находиться при нем».

<sup>16</sup> Книга православного византийского монаха Иоанна Мосха «Луг духовный».

<sup>17</sup> К и н о в и я (*греч.*) — христианская монашеская коммуна, монастырь общежитского устава.

Пораженный откровением, отец Алексей воздел руки и взмолился:

— Господи, прости людей, не ведающих, что все, что написано у святых отцов — правда, а все, что сказано в Евангелии — истина!

Вспомнил о себе и спросил, глядя на ангелов:

— Когда?

— Через три дня. Ты волен, и тебя никто не держит. Будь, где хочешь, делай, что хочешь, общайся, с кем хочешь, и силы тьмы не коснутся ни тебя, ни тех, кого ты любишь. Ты и твоя семья под защитой.

Батюшка увидел ангелов, стоящих за спинами детей.

— А он? — отец Алексей показал на тезку, рядом с которым не было ангела-хранителя.

— Ангел отошел от него, — небесный воин помолчал и добавил: — До поры до времени... Так повелел Господь!

Это утешило священника, все еще сомневающегося, правильно ли он поступил.

— А эти? — желая узнать как можно больше о новом для него мире, батюшка кивнул на егерей, которые волокли бездыханное плотское тело к выходу, оставляя на полу светящийся кровавый след.

— А их уже ждут, — ангел храма отвел в сторону церковную стену, словно убрав штору, и то, что увидел отец Алексей, привело его в ужас.

По краю болота рыскали страшные, мерзкие существа, источавшие смрад и зловоние. Один их вид холодил душу. Жуткие твари, томясь в ожидании добычи, ссорились и дрались между собой, издавая вой и рычание, способные по силе заглушить иерихонские трубы. Сзади них расстилалась мрачная дымящаяся равнина с обугленными стволами деревьев, с языками пламени в серных ямах и веером полыхающих молний, то и дело озаряющих небосвод от края до края. Там был ад, или, как говорили благочестивые иудеи, Генном<sup>18</sup>, пожирающий плоть.

Ангелы исчезли, стена встала на место, и отец Алексей перевел дух, радуясь, что он все еще в храме, что не явились бесы и не уволокли его в преисподнюю. Церковь опустела. Батюшка слышал, как заколачивали дверь — словно гвозди вбивали в его гроб. Уловил сладковатый запах плавящегося соснового ладана в непотушенной кадильнице, пригасил ее и зашел в алтарь.

Дом, милый дом...

Батюшка постоял, призывая Богородицу и святых в свидетели дел своих, и охнул, когда в полумраке вдруг вспыхнул стоящий на престоле семисвечник и расцвел синими, зелеными, красными и желтыми фонариками. Это засветились лампы, зажженные невидимой рукой. И небесный хор начал великое славословие... Отец Алексей дослушал до конца, дождался, когда погаснут лампы, и только после этого поднялся на крышу, к кресту, пройдя сквозь своды, словно их и не было.

## ГЛАВА 5

Отец Алексей лежал на церковном крыльце, по-богатырски раскинув руки, в простреленной восемью пулями гимнастерке.

Прежде чем переступить через русского, Фридрих еще раз ударил носком ботинка по лицу батюшку — уже мертвого и безобидного. Офицер никак не мог прийти в себя от той наглости, что выкинул русский солдат при свидетелях. Двое рядовых стояли у обер-лейтенанта за спиной и все видели. Именно позор заставил офи-

<sup>18</sup> Генном, или Геенна (*иврит*) — место, куда попадают души грешников после смерти.

цера разрядить в русского всю обойму. Прямо там, в церкви, в терки, под крики и вой малышни. Хорошо, что их удержали те, что постарше, а то бы он их всех положил, и своих егерей тоже.

Слишком велико было унижение.

Фридрих злился, прежде всего, на себя: стоило ли целый день бегать за русским, чтобы вот так бесславно все закончить? А ведь мысли были другие. Увидев церковь, хотел подойти к попу и попросить благословения расстрелять красноармейца. Вот потеха была бы: русский благословляет убить русского! О том, что священник мог отказать, Фридрих даже не думал. Кто под смертью ходит — тот не коверяжится. Благословил бы как миленький — и его, и всю диверсионную группу — на дела праведные: на борьбу с большевиками.

Возвращаться в церковь не хотелось, говорить с попом было не о чем. Фридрих переступил через труп, спустился с крыльца и пошел к дому, который облюбовали его солдаты. На полпути остановился и приказал стоящим на крыльце рядовым запереть священнослужителей в сарае, остальных отвести в дом.

При звуке выстрела Алексей дернулся, роняя на пол аналой и непроизвольно падая на колени лицом к иконостасу. Вытянув руки, ряженный священник всей душой вскричал, прося милости и защиты у тех, кто еще недавно не существовал для него. Лики на иконах были темные, узколицы, бородатые, все в алых плащах, перекинутых через плечо, и все с посохом в виде креста. Алешка не знал, кто из них Бог, не знал Богородицу, не знал святых... И бывший красноармеец стал интуитивно перебирать по старшинству, по субординации — как учили на курсах молодого бойца. Командир всегда впереди, а его замы по бокам. Это правило Смирнов перенес на иконостас. Если в центре — значит, Бог, если рядом стоит бородатый мужик или женщина — значит, кто-то из святых и Мать Божья. А на иконах, что висели ближе к краю иконостаса, — святые угодники или еще кто, а вот кто — Алексей уже не знал.

Он слышал, как кричали дети, как девчонка просила малых не плакать, а сама не сдерживала слез. Он слышал, как тащили священника по полу. Он видел взгляд старшего поповича, его сжатые кулаки и видел кровавый след через всю церковь, от икон у окна до двери. Красноармеец боялся встать с колен, не веря в свое спасение. Ему казалось, что сегодня он обязательно получит свою пулю, что офицер его узнал и сейчас вернется...

Но Бог миловал.

Вместо офицера в церковь вошли солдаты — те самые, что тащили убитого на стоятеля к двери. Постояли, цокая языками, передернули затворы и на ломаном русском приказали всем выходить.

Прежде чем встать, Алексей посмотрел по сторонам, как бы готовясь к побегу, поправил сползшую скуфейку и замер, увидев торчащие под лавкой детские колени и приклад охотничьего ружья. Иван — кажется, так звали мальчика — в зубах держал два патрона и, лежа на боку, пытался через колено переломить ружье. Наконец у него получилось: замок хрустнул, разведя ружье на две части. Алексей видел, как пацан выхватил патроны изо рта и один за другим загнал их в ствол, свел половинки ружья до щелчка и перевернулся на живот.

— Пан, пан, иди сюда! — Алексей закричал, приманивая егерей, вскочил с колен и шагнул к окаменевшей от ужаса Дарье. Взял за руку Степку и Танечку, подвел и усадил на лавку — так, чтобы их ножки болтались перед лицом новоиспеченного стрелка. Ботиками, что достались ему от священника, наступил на ствол ружья, придавив его к полу.

Из-под лавки раздалось злобное пыхтение, и детский угрожающий голос прозвучал:

— Отпусти, гад!

— Лежи и не дергайся, — прошипел Алексей. Присел, якобы поправляя сползшую скатерку, и продолжил, глядя на фрицев, вошедших в храм: — Если братьев и сестер не жалко, себя пожалей. В ад захотел, убийцей стать решил? Что Бог скажет?.. — Красноармеец не ожидал от себя такой тирады и покраснел.

— Бог поймет...

— Он, может, и поймет, а вот отец точно не одобрит.

— Его убили из-за тебя!

— Я его не просил, — раздосадованно бросил Алексей и встал.

— Не ты ли, вползая, вопил: «Помогите Христа ради, погибаю»? — к ним подошла Дарья и встала рядом, теребя край платка.

Глухой голос взрослой не по годам девчонки заставил солдата вспомнить свое появление. И больше для проформы, чем в свою защиту он буркнул: «Всех убью», — и тут же услышал в ответ: «На все воля Божья».

— Вот упрямые, как бараны... «Бог поможет! Бог спасет!» — красноармеец со злобой зачерпнул ковшом воды из стоящего на лавке бочонка и пошел навстречу фрицам.

— Битте, ватер... Санта ватер... Гипократ... Потенция, — залопотал Алексей, путая английские, латинские и немецкие слова и собирая в кучу все, что знал, слышал и смог запомнить за свою непродолжительную жизнь. Говорил скороговоркой, ожидая каждую секунду порцию дрови в спину. Но мальчик не стрелял: перед ним болтались детские ножки в сапожках, и этого было достаточно, чтобы задвинуть ружье подальше под лавку и затаиться.

Стараясь обходить кровавый след, ряженный поп подошел к немцам, протягивая ковш. «Битте, битте», — бормотал он, пытаясь придать лицу доброту и беззаботность. Руки дрожали, и капли святой воды то и дело плескались через край. Егеря остановились посреди церкви, утопая в клубах дыма от камины, которой монотонно помахивал Федор. Он был в прострации, машинально повторяя в десятый, а может, и в сотый раз: «Со святыми упокой, Христе, душу раба твоего протоиерея Алексия, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная». Алешку это не удивило: он и сам, когда первый раз попал под бомбежку, долго не мог выйти из ступора. А тут такое дело — на твоих глазах убивают близкого тебе человека. И, что самое неожиданное, его тронуло то, как дети приняли смерть отца. Они, наверное, знали что-то такое, чего не знал он.

А может, это их вера?

Мысль о силе божественной веры заставила его успокоиться. Неспроста старичок-архиерей привел его в это место. Значит, так надо... Руки перестали дрожать, и Алешка даже отхлебнул из ковша, показывая тем самым, что вода не отравлена. «Гут, гут», — зацокали языками фрицы и по одному припали к корчажке. Вода была студеной и сладкой — то ли от ключей чистых, то ли от силы все той же божественной веры, с которой накануне праздника отец Алексей освятил принесенную из родника воду.

Вода немцам понравилась. Они одобритительно похлопали по спине и, протянув фляжки, отравили его к бочонку, стоящему на лавке. Пока русский набирал им воду, пока завинчивал крышки, детей — и старших, и малых — вывели из церкви.

Отца Алексия на крыльце уже не было. Его труп был отнесен егерями за церковь и брошен там в крапиву, темные и мокрые заросли которой начинались от южной стены и тянулись до самого болота.

Малые сунулись было за церковь — посмотреть, как там их папка. Но немец не разрешил, каркнул: «Нихт», — лениво снимая автомат с плеча, и махнул рукой, чтобы возвращались. С криком: «Убьет ведь дурень», — Дарья подхватила Танюшку и Степку, спеша вернуться к крыльцу до того, как фриц нажмет на курок.

Гнерия дождались, когда выйдет поп, и заколотили гвоздями дверь. Оглядели жавшихся друг к другу деток и спросили Алексея: «Алл дас киндер?» Понял он только одно: спрашивают про детей, — и кивнул утвердительно: тут, мол, все, никто не пропал, никого не забыли. Хотя видел, что нет Ивана, который так и остался лежать под лавкой, прижав к груди охотничье ружье. Сердце заныло: если найдут... он не хотел думать, что будет, если найдут Ваню, мысленно попросив старичка-архиерея, чтобы этого не произошло.

Именно архиерея, а не Бога.

Бог в душу Алексея возвращался медленно и тяжело. Комсомольская сущность все еще противилась, не желая пускать свет в царство тьмы. Лицо горело огнем, а бесы где-то там внутри кричали: «Беги, что тебе до них? Спасли — и достаточно. Сорви крест, скинь одежды и беги, чего стоишь?.. Это все фокусы». И он впервые ответил им: «Да пошли вы... я вот жив, а поп тот, что за меня душу положил, в крапиве лежит... какие же тут фокусы?» Это был перелом в сознании. Единственное, чего он не мог понять до конца: Бог — это кто? Какой Он? Как к Нему обратиться, как просить и о чем?

Жесткий толчок стволом в спину вернул бойца Красной Армии на землю, забыв, кто он и что тут делает. С того момента, когда Алексей Смирнов перевалился через порог церкви, и до момента, как он вышел из нее, прошло чуть больше получаса. Достаточно, чтобы молодому организму отдохнуть. Силы вновь вернулись к солдату — вместе с мыслями о материальном благе. «Пожрать бы не мешало...» — подумал Алешка и, сунув руки в распашные рукава, зашлепал ботинками по грязи, догоняя Федора, который шел, сутулясь под тяжестью навалившегося на него горя.

Дарью и детей отвели в дом, как и приказал офицер, а Алексея с Федором затолкали в темный и сырой дровяник.

Первым к двери шагнул Федор.

Вздохнул тяжело и протяжно, перекрестился и со словами: «Господи, помилуй!» открыл дверь и, пригнувшись, пролез в темное чрево, невольно сравнивая сарай с китом, проглотившим Иону.

Сарай был небольшой, два на три метра, с низким потолком в половину человеческого роста. Стоять было неудобно, и Федор, подобрав стихарь, опустился на колени, чувствуя холод земли, долгие месяцы пребывавшей без света и тепла. Дьякон прополз в дальний угол, нагреб руками небольшую кучу из трухи и щепок и сел на нее, вспоминая, как с приходом дождей сам перетаскал все поленицы в дом — не зная и даже не догадываясь тогда, что сам себе готовит темницу. Когда отец спросил, зачем завалил дровами сенцы, объяснил с толком и расстановкой, загибая пальцы: чтобы не сырели; чтобы далеко не бегать; чтобы сберечь силы, ибо зима будет длинной, холодной и голодной. Отец тогда одобрительно кивнул, слушая по-взрослому рассудительную речь.

Следом заполз в сарай ряженный. Федор глянул на него — и отвернулся, чувствуя, что в душе разгорается ненависть к этому человеку. Мало того, что отец за него жизнь положил, так тот еще проявляет неуважение к данным ему одеждам. Чавкает по земле рясой — и хоть бы что ему, даже лоб не перекрестил. А еще скуфейкой лицо вытер, вспотел, что ли... Дьякон с силой треснул кулаком правой руки об ладонь левой и, прикрыв глаза, зашептал: «Господи, не дай демонам восторжествовать и посмеяться, укроти злобу мою, смени гнев на милость, дай любовь к этому человеку, подскажи, за что мне полюбить его... Господи, все по Твоему произволению, Ты Творец всего сущего, на все воля Твоя. Не мог он сам по себе прийти. Значит, Тебе, Господи, что-то надо от нас...»

Федор вспомнил строчки из Евангелия, где Иисус на вопрос учеников, спро-

сивших: «Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» — отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии»<sup>19</sup>.

И уже вслух диакон громко произнес, глядя на спину красноармейца:

— Чтобы на нем явились дела Божии.

— Они уже явились, — не то с досадой, не то с угрозой буркнул Алешка, разглядывая улицу сквозь щели в стене. — Папашу твоего убили и нас следом убьют. Все к этому идет, — Алексей старался понять, что происходит за стенами дровяного сарая. Красноармеец был недоволен тем, как все складывалось. С одной стороны, он жив, а с другой — сарай, куда их заперли, лишь отсрочка. Немцам свидетели не нужны, и самое крайнее — расстреляют их на рассвете, когда уходить будут. И убьют — всех.

— Апостол Павел сказал: «...кого Он определил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил».

— Я книжек не читал, и что там твой Павел тебе наплел, не знаю, но скажу так: что же это за милость такая, если отец лежит в лопухах, а сын сидит в сарае и ждет, когда его там же уложат? — процедил Алексей.

— На все воля Божья. Скажет: «Ложись», — лягу. Скажет: «Встань», — встану. Господь милостив, — Федор произнес поговорку, которую всегда повторял отец, и добавил: — Господь поможет, Господь не оставит.

— Вы как бараны... Только и можете об поллбами биться. «Господи, помилуй», «Господи, помози» и с размаху — бац! И как только лоб выдерживает?

— Вот такие мы... Не от мира сего.

— Я и смотрю, блажные вы какие-то. Отца шлепнули, а они даже не дернулись, один лишь дурачок нашелся, да и тот под лавкой лежал.

— А зачем остановил?

— Жалко стало сироту.

— Не его жалко, за свою шкуру тряся.

— А может, и так, — Алешке надоело спорить. Он уже завелся, и захотелось дать парню в морду. А чтобы ускорить процесс, решил спровоцировать, сведя разговор к оскорблениям и не глядя на Федора, бросил через плечо: — Вроде уже не ссышься, а в сказки веришь. Твой бог — Сталин, ему и молись.

Парень сдержался, лишь потупил глаза и тихо спросил:

— Что же ты орал: «Спасите ради Бога»?

— Это я так, для проформы, чтобы вас задобрить. Вы же, семья поповское, любите, когда при вас Бога хвалят.

— Любим, и людей к этому призываем. И тебя когда призовут — будешь хвалить и славить.

— Ты меня не трогай! Я сам разберусь, кого, где и когда хвалить.

— Может, и сатану хвалить станешь?

— Может, и стану.

Федор не хотел...

Нога сама дернулась, вбивая каблук прямо в зад ряженому. Удар получился весьма болезненный и увесистый, да такой, что не ожидавший подвоха Алексей с силой воткнулся в нетесаные доски, счищая щеку об остатки затвердевшей от времени коры.

— Ты что, сука поповская, охренел?! — Алексей, придерживая растерзанную щеку, повернулся к Федору, накручивая себя словесно и одновременно примериваясь, как бы ударить половчей, чтобы одним разом...

— За отца я смолчал, это тебе за Господа.

— А это тебе за советскую власть! — Алексей прыгнул, стараясь попасть кулаком в лицо обидчику. И то, что перед ним был мальчишка, красноармейца несколько не смутило. Обида от полученного удара затмила рассудок. Было зверское желание убить, на край — залепить фингал под глаз и разбить юнцу нос, тем самым обеспечив себе победу в классовой борьбе. В нос он не попал, зато налетел на выставленную пудовую гирю.

Дьяконский кулак оказался жестким, как наковальня, а соприкосновение — оглушающим. От тычка Алексей сменил траекторию и рухнул на спину возле Федора. Хотел вскочить, но низкий потолок сдержал порыв красноармейца, а вторая дьяконская нога перенаправила ряженого к стене, сообщая, что первый бойцовский раунд остался за контрреволюцией.

Не в манере Алешки было сдаваться. Он вырос на улице, и улица была его домом — со всеми прибабасами и причудами деревенской жизни: с самогоном и папиросами, с ножами и обрезами, с драками село на село и поединками один на один. И его били, и он бил. Он знал, как драться, и умел это делать. Зацепил пальцами горсть трухи с земляного пола и швырнул поповичу в глаза. Не дожидаясь, когда тот прочухается, кинулся на пацана, подминая под себя. Завалил Федора и стал, хрипя и рыча, молотить кулаками, не видя в темноте, куда бьет.

Эта возня и привлекла внимание часового, сидевшего возле сарая под навесом на лавочке. Солдата звали Юрген — это был один из тех, что заходили в церковь. Рядовой дремал, касаясь подбородком груди. Усталость и напряжение, в котором пребывали егеря все последние дни, дала о себе знать. Но даже в таком состоянии пальцы крепко удерживали затвор автомата. Лишь иногда солдат вздрагивал — и улыбка пробегала по обветренному лицу. Наверное, во сне он видел не жестокую реальность в виде темного русского леса, а изумрудные луга и толстых баварских коров.

Шум драки отвлек его от созерцания прекрасного мира, заставив вскинуть автомат. Сообразив, что происходит внутри сарая, немец передернул затвор и, крикнув «Ауфхерен!»<sup>20</sup>, нажал на курок, держа ствол на уровне крыши.

Пули ударили по стенам, вызвав лавину пыли и трухи, сыпавшуюся с потолка. Следом за пулями, прошившими доски, в сарай проникли лучи света, освещающая катавших по полу людей. Вторая очередь заставила драчунов прекратить возню и притихнуть. Их дыхания слились в одно, выдавая некое пыхтение, похожее на стоящий на путях паровоз.

Дверь сарая распахнулась, и две головы — Литке и Юргена — заглянули внутрь дровяника, с интересом разглядывая двух русских, лежащих на земле — грязных, всклокоченных, окровавленных и сопящих.

— Спаси, Господи, люди добрые, что прекратили драку между православными, — пропел дьякон и, оттолкнув священника, сел к стене, хлюпая разбитым носом.

— Мир вам и благодать, изуверы, да будет вам земля пухом, — Алексей перекрестил немцев и сел рядом с Федором, навалившись на стену.

Фельдфебель не все правильно перевел, но точно понял, что тот, что постарше, благодарит их за спасение, а следовательно, к молодому парню возникла неприязнь.

— Кто... начал... — Литке знал русский, но предложения, как и слова, давались ему с трудом, поэтому он всегда говорил протяжно, с расстановкой. Вдобавок ко всему он забыл, как будет по-русски «бой», и закончил фразу по-немецки: — Кампф<sup>21</sup>?

<sup>20</sup> *Aufhören* (нем.) — «Прекратить!»

<sup>21</sup> *Kampf* (нем.) — бой, драка.

— Я, — Федор ткнул пальцем себе в грудь, поправ в крест, запустил руку под воротник, вытащил крестик и поцеловал. — Спаси, Господи!

— Гут, — Литке хотел войти и наказать его палкой, которую сжимал в руке, но, прикинув высоту потолка, передумал. Утром они уйдут отсюда, и свидетели им будут не нужны, но и в этом случае нельзя было пренебрегать дисциплиной. Порядок требовал, чтобы свершилось правосудие, и фельдфебель поманил пальцем Федора.

— Комм<sup>22</sup>.

Пацан не сразу понял, что фриц его зовет.

— Я? — переспросил на всякий случай, поднялся с пола и, сутулясь, пошел к двери.

— Яа, яа<sup>23</sup>, — Литке поманил Федора и отошел в сторону, освобождая место для размаха.

Первое, что увидел Федор — это кусок серого неба; последнее — яркое солнечное пятно, висящее над куполом церкви, а потом наступила темнота. Удар палкой пришелся в голову, которую мальчишка, прежде чем вылезти, высунул из сарая.

Алексей видел, как взлетела вверх палка, как, падая, вскинул руки дьякон, как хлопнула дверь, отделяя свет от тьмы. И все, что успел сделать ряженный, прежде чем Федор с размаху ударился бы о землю, это кинуться к пацану, подхватывая того под обмякшие руки.

## ГЛАВА 6

Когда все ушли, из-под лавки вылез Ванюшка, сел на полу, обхватив двустволку, и надулся — то ли оттого, что испачкал стихарь, то ли оттого, что не убил фрица.

Сидел и думал: «Смотрит сейчас на меня папка, качает головой укоризненно и говорит: “Как же ты, Ваня, посмел облачение священническое замарать?” А я ему: “Так не по своей воле под лавку полез”. — “А по чьей?” — сурово спросит отец, теребя бороду. — “Отомстить хотел”. — “Отомстил?” — “Да нет, тот ряженный, которого ты спас, помешал”. — “Как же так, я ему жизнь спас, а он тебе, Федору, Даше, малым. Так что не бери грех на душу, не осуждай того, кто от большего греха тебя отвел”. — “Я не осуждаю, я рассуждаю”. — “Фарисействуешь, Ваня. Или ты не знаешь, в чем различие между «осудить» и «рассудить»? Если забыл, напомню: осуждаешь за что-то, рассуждаешь о чем-то. И не хули никого, ибо никогда не знаешь, для чего тот или иной человек призван и какие виды у Господа на него. Понял?” — “Понял...”» — Ванюшка вздохнул, не замечая, что все это время мысленно разговаривал сам с собой.

Во дворе, прерывая Ванины думки, треснула автоматная очередь. Пацан вскочил, роняя на пол ружье. Запрыгнул на лавку, стоящую у окна, и задышал на него, старательно очищая пальцами стекло. Стекло было потным с обратной стороны, между рам, так что протирание не сильно помогло. Кто стрелял и в кого — Иван не разглядел, зато по звуку понял, что стреляли у них во дворе, возле дровяника. И словно в подтверждение его правоты, захлебываясь, залаял Тугрик. И звук еще одной автоматной очереди ворвался в церковь, сливаясь с тонким жалобным визгом.

— Убили... — Кого убили, Иван не стал уточнять, так как никто не спрашивал. Соскочил с лавки и кинулся к двери. В притворе вспомнил, что дверь заколо-

<sup>22</sup> Комм (нем.) — «Подойди».

<sup>23</sup> Яа (нем.) — «Да».



цена, развернулся и побежал к боковой выходу, что был за алтарем, — вечно закрытому, но с торчащим в замке ключом.

Возле алтаря была ризница без окон, там хранили священнические одежды, там облачались и там же переодевались. В комнате было темно. Ванька стащил с себя стихарь, сложил и сунул в шкаф. Пошарив в темноте, нащупал фуфайку на вешалке. Надел, не застегивая пуговицы, хлопнул о колено мятым картузом и, нацепив его по-жигански — так, что козырек прикрывал брови на указательный палец, — враз превратился из поповского сынка в обыкновенного деревенского хулигана.

Тихо, чтобы не шуметь, Иван выскользнул из церкви, прижался спиной к сырým бревнам и замер, помня, как скрипели ступени на колокольне. То, что там был часовой, сомнению не подлежало. Не для того притопали фрицы за линию фронта, чтобы вести себя беспечно и неосмотрительно. У Ваньки был нюх на дела армейские, и если бы он родился не в семье священника, то, скорее всего, стал бы военным.

От болот тянуло сыростью и прохладой.

Иван поежился, застегивая пуговицы. Руки сами заползли в рукава. Он не жалел, что залез под лавку. Дашка точно бы заставила канон зауспокойный по отцу читать, а потом еще псалтырь всю ночь... Псалмы без книги он не помнил. А канон знал, его можно было прочитать и здесь, но здесь не хотелось. Обстановка не та. Да и ленился. Одним словом, нашел оправдание, что он на войне и ему нельзя отвлекаться...

Все лето Иван мечтал сбежать на фронт. И вот дождался: фронт сам пришел к нему.

Вместе с нагрянувшими фрицами у Вани появилась цель — точнее, задание, которое он должен был выполнить. Самое настоящее боевое задание, полученное им от товарища Сорокина. Кто такой Сорокин и где он с ним познакомился, Ванька держал в тайне.

Задание грело душу не меньше заряженной дробью двустволки, которую оставил под лавкой. Ружье он не стал брать, рассудив: если поймут с оружием, сразу убьют. А так есть надежда, что отпустят: ведь не стали остальных расстреливать, потрепали по вихрам и в дом увели. А это увеличивало перспективы на выполнение поставленной перед ним задачи.

На улице опять заморосил дождь.

Серая пелена накрыла деревню, превращая день в сумерки. Земля уже не хотела впитывать влагу. Вода медленно заполняла низины, превращая Мхи в остров.

К утру все водой покроет... Ванька подтянул штанины и посмотрел на полусапожки, которые надел утром по своему упрямству. Хотя отец предупреждал о том, что дожди с Воздвижения идут и, не ровен час, вода из болот поперет, затапливая окрестности, Иван все равно не послушал. Упрямство было его основной чертой, оно приносило ему массу неприятностей — и в то же время делало жизнь яркой, полной приключений и неожиданных сюрпризов.

Таким сюрпризом и стала его встреча с партизанами Сорокина, которые еще летом в этом квадрате начали устраивать тайники с оружием и едой.

Месяц назад отец написал еще одно письмо владыке в Лихославль. А так как выбор гонцов был невелик, пришлось на станцию идти Ивану. Солнце перевалило за полдень, когда он, возвращаясь, вышел к вековой сосне, служившей для местных неким ориентиром. Здесь дорога уходила в сторону и огибала заросший овраг, похожий на длинный вытянутый чулок. Если от сосны спуститься в низину и через буреломы, крапиву и лопухи пройти метров шестьсот, можно срезать почти три километра петли.

Волков он не боялся, уповая на Николая Угодника. Немцы были еще далеко, а

про партизан Ваня ничего не слышал. Ни того, что уже с июля по всей области люди в синих фуражках создавали отряды, устраивали блиндажи и тайники. Ни того, что во всех селах проводили учебные стрельбы и запись добровольцев. Он вообще мало чего знал из того, что делали взрослые, готовясь встречать врага.

Мальчик перекрестился и шагнул с колеи в крапиву.

И надо же было ему выйти на только что устроенный схрон, да еще и провалиться в него! В яме под обвалившимся настилом Иван нашел ящик с аккумуляторными батареями, бухты проводов, динамо для выработки энергии, огромные кусачки для резки колючей проволоки, молотки, пилы, топоры, коробку с лампами для приемника, сам приемник, рупор от громкоговорителя и множество прочих предметов, о предназначении которых можно было только догадываться. В дальнем углу стояло несколько винтовок, коробки с патронами и ручной пулемет. В тайнике была еще одна штукавина, которая, собственно, и свела его с Сорокиным.

Круглый барабан цвета хаки с отполированной медной ручкой оказался нетяжелым. Ванька вытащил его из ящика и, сев здесь же на коробку с лампами, стал изучать штуковину. Машинка оказалась смазана солидолом, ход рукоятки был плавный и легкий.

Иван взял и раскрутил ручку, набирая обороты.

Прокрутил... и, зажав уши, кинулся из ямы, цепляясь за обломанные жерди завалившегося настила.

О том, как у него сердце ушло в пятки, Сорокин с юморком рассказал вечером у костра — под дружный и одобрителный смех партизан.

Сейчас это было смешно...

Но в тот момент командиру было не до смеха. Услышав вой сирены, доносящийся из той самой низины, которую они покинули несколько минут назад, группа замерла, машинально снимая оружие с предохранителей.

Накануне в отряд пришло радиосообщение. Из передачи следовало, что необходимо еще раз обойти тайники, проверить их надежность и скрытность, а заодно дополнить ревунами — переносными ручными сиренами. Фронт был в ста километрах, но постановления совнаркома о борьбе с диверсантами и парашютистами, утвержденного еще 24 июня, никто не отменял. Звук такой сирены был слышен за десять километров и гарантировал своевременное предупреждение о появлении в тылу вражеских диверсионных групп.

Вот с такой вылазки как раз и возвращалась группа Сорокина.

О тайнике знало всего несколько человек: он, его бойцы, что были с ним, его зам, политрук и два вышестоящих начальника из областного управления НКВД, куда он переслал карту со всеми тайниками, устроенными его отрядом.

Первая мысль, которая прожгла Сорокина — кто? И заместитель, и политрук ушли в соседние квадраты с аналогичным заданием. Немцы вряд ли бы стали поднимать такой шум. Значит, из области прислали сотрудника, который вскрыл схрон, оповещая его отряд о прорыве фронта.

Надо было проверить.

Рука затряслась, выдергивая наган. Командир, крикнув осипшим от волнения голосом: «За мной!» — кинулся в низину: ту самую, из которой они только что вышли.

Вой резал уши, разносясь эхом на много верст.

Сорокин бежал, держа рукой сердце, готовое выскочить из груди. Что там такое, что вой сирены не останавливается? Выстрелов он не слышал и нарисовал себе жуткую картину: раненый лейтенант с перебитыми ногами лежит в луже крови и крутит, крутит сирену, предупреждая всех о надвигающейся беде...

Мысль о перебитых ногах отвлекла его, и он не заметил, как сбил пацана. Налетел, сшиб — и сам свалился, ударившись коленом о корягу.

Сорокину помог подняться старшина Митрохин, а мальчишку подняли бойцы. Да еще встряхнули, держа на весу.

— Ой, дяденька, не надо! — глядя на прыгающий перед ним ствол револьвера, запричитал Ванька, болтая ногами в воздухе, и добавил, пуская слезу: — Пожа-лейте меня, сиротинушку!

— Так это ты, паскудник, адскую машинку раскрутил? — майор потер ушиб-ленное колено.

— Я не хотел, она сама завыла...

Только сейчас Сорокин перевел дух, сообразив, что немцев нет, фронт на мес-те, а весь переполох устроил этот пацан, нашедший тайник. Надо было уточнить, что они сделали не так.

— Как нашел?

— Провалился... Сначала думал, к медведям упал... Чуть не обделался.

Это вызвало смех, что и смягчило сердце командира. Сорокин махнул бойцам, чтобы мальчонку опустили на землю.

— Поставьте его... Ну что он болтается у вас, как желудь, над землей?

Еще порция смеха — и Ванька понял, что буря миновала. Пороть не будут, а может быть, и покормят. К счастью, и сирена затихла.

— Сами виноваты: жердей толстых пожалели на перекрытие, — Ванька осме-лел и сурово глянул на командира. — Нашел я — найдут и другие.

— А ведь пацан прав, — Сорокин повернулся к старшине. — Митрохин, возьми бойцов, дойди до схрона и все там поправь. Головой отвечаешь. А я тут с мальцом пока покалякаю.

Так и подружились.

Странное дело, Степке совсем не хотелось плакать. Словно кто-то провел по его лицу теплой ладошкой, утирая слезы, потрепал за носик и сказал: «Твой папка смотрит на тебя».

— Где? — спросил малой сам себя и полез с печи.

— Ты куда? — Танюша ухватила его за руку и потянула на себя, не давая спустить ноги и прыгнуть.

— Пусти!

— Сиди тут... Дашка сказала: с печи ни шагу, не ровен час, убьют.

— Они добрые.

— Были бы добрые, папку бы не застрелили. Слышишь, как смеются?

За занавеской то и дело раздавались пьяные гортанные крики и смех.

— Это исчадия ада, они пришли из тьмы и во тьму уйдут, — зашипела девочка на ухо брату, нагоняя страх. Танюшка пугала малыша не ради испуга, а затем, чтобы тот не наделал глупостей.

Смех на самом деле был не человеческий — сатанинский. Словно то были не люди, а бесы в облики немецких егерей. Злобные и жестокие, на правах хозяев распоряжающиеся в их доме.

Степка вытащил лежавшего под одеялом «тряпошного» солдата. Походил им по печи, поползал по одеялу и положил на подушку.

— Солдат спит — служба идет, — глубокомысленно изрек он и добавил в риф-му: — Пусть отдохнет.

— Что-то он у тебя быстро устал, — Таня стащила с головы платок, оставив на плечах. Так ходила Дашка, так было красиво и, наверное, модно.

— Жарко здесь, вот его и разморило.

В камнате на самом деле было жарко. Не так, как всегда. В избе топили с того

часа, как егеря вошли в дом. Немцы заставили Дашу разжечь печь. Скинули со стола книги, подсвечник и часы. Стол придвинули к кровати, обставили стульями и сели. Ранцы сняли в сенях, а вот оружие держали при себе или в зоне доступности — так, чтобы если стукнет пулемет на колокольне, не метаться безоружными по дому.

По мере того как теплело в доме, все больше и больше пуговиц расстегивали егеря на своих куртках. Лица краснели с каждой стопкой коньяка, языки заплетались, а смех становился все громче и злей, пугая детей на печи.

Закончив пировать, немцы прикатили дубовую бочку, затащили в кухню поближе к печи и велели Дарье нагреть воды. Когда все было готово, разделись догола и, сгрудившись в кухне, стали мыться, поливая друг друга. Вода потоками, словно в душевой, стекала на пол, образуяывая огромную лужу. От постоянного движения волны перекачивались через порог, вода текла в комнату и дальше по дому в чулан и под печь. Фрицы фыркали, брызги попадали на печку, отчего та все время шипела и плевалась в фашистов. Немцев это забавляло и, думая, что они в русской бане, егеря брызгали водой на заслонку, наполняя кухню паром.

Вода в бочке стала заканчиваться, а от желающих помыться не было отбоя.

«Фрау, ватер, шнель», — донеслось из кухни, и оттуда вылетело пустое ведро. Егеря заставили девчонку носить воду. Закусив губы, Дарья таскала и таскала ведра с водой, чтобы услужить, чтобы не спровоцировать. Мокрая от пара в кухне, мокрая от плескающей воды в ведрах, мокрая от брызг, которыми ее обдавали фрицы, для них она как человек не существовала — только как рабыня, с которой можно делать все что угодно. Можно убить выстрелом в голову, можно утопить в бочке с мыльной водой, а можно заставить тереть им спины.

Слава Богу, что все обошлось ведрами и водой — молитва помогла.

Больше всего Дашка боялась не за себя, не того, что немцы обнаглели и голыми ходили по дому: боялась за детей, сидящих по ту сторону печи. Если печь лопнет и рухнет свод, Танюшка и Степка провалятся в пылающее устье.

Собравшись с духом, Дарья позвала с собой Анастасию Узорешительницу, которая всегда помогает христианам, сидящим в темнице, и бросилась в соседний дом к офицеру, крича: «Пан, пан, беда!»

\* \* \*

Фридрих с денщиком заняли дом псаломщика, туда же перенесли часть дров. Клос — так завали денщика — часа два назад приводил Дарью, и она растопила печь. Псаломщик пропал два года назад, с тех пор дом стоял нетопленный, вбирая влагу и холод. Пришлось ждать, пока пошло тепло, прогревая стены и углы. Через час вошел офицер, положил на стол брикет вяленого мяса, галеты, кофе и шоколад. Показал Клосу на пыльный самовар и сел к окну с картой и компасом.

Когда Дарья вбежала в комнату, Фридрих лежал на кровати с ручкой и дневником, размышляя и записывая все о сегодняшнем дне.

— Пан, пан, — позвала Даша и показала на гудящую печь, — скажи солдатам, чтобы на печь воду не лили, печь бабах, холод придет, сырость, мороз будет, плохо всем будет.

Она не знала, что Фридрих понимает по-русски, и старалась говорить короткими фразами, обращаясь с ним как с туземцем. Но он понял ее и, передразнивая, проговорил:

— Мая твоя понял, печь бах, не бабах. Солдат немецкий все понимай, — и добавил уже без акцента и без кривляния: — Ты плохо говоришь по-русски, я могу тебя подучить.

Взгляд офицера скользнул по девичьим растрепанным волосам, прошелся по

мокрой кофте с обвисшими рукавами, задержался на прилишем к телу платье, дошел до босых ног и вернулся к лицу — серьезному и красивому. В нем было что-то завораживающее. Обер-лейтенанту захотелось поцеловать русскую девушку. Он отложил дневник и хлопнул ладонью по краю кровати.

— Сядь!

— Пан, там солдаты воду ждут, — она подняла руку, сжимающую пустое ведро, — и руки у меня грязные.

— Хорошо, — Фридрих кивнул и громко по-немецки крикнул: — Клос, скажи всем, чтобы воду на печь не лили. Может лопнуть. И пусть девчонку не трогают, я запретил.

— Яволь герр офицер<sup>24</sup>! — Клос перехватил ведро и галантно указал Дарье на дверь. — Битте<sup>25</sup>!

\* \* \*

Когда убежала Дашка, Степка повернулся к Танюше и спросил:

— Тань, а когда они уйдут?

— Дашка сказала, утром, так что терпи.

— А папку завтра хоронить будем?

— На все воля Божья! Может, и некому будет хоронить, — у Танюшки случались моменты прозрения, в которых она невольно могла пророчествовать. Как сегодня утром, когда она почувствовала могильный холод, идущий от отца.

— Тань, ты что? Ты меня не пугай, я боюсь.

— Я сама боюсь.

— А давай бояться вместе, так не страшно.

— Давай.

Они взялись за руки и тихонько, чтобы немцы не слышали, запели: «Святой Боже, Святыи крепкий...» В тот самый момент, когда детские голоса вытягивали последний куплет «...помилуй нас», волосатая рука отдернула занавеску. В чулан вошел пьяненький фриц, по пояс голый, со стопкой коньяка.

— Киндер тринкен<sup>26</sup>, — Юрген протянул детям стакан. Солдат только что сменился, и пост у дровяника занял Карл-клайн (маленький), так как был еще Карл-гросс (большой) — тот самый пулеметчик, что стоял с Литке на колокольне. Юрген знал, что до утра свободен, и позволил себе немного набраться. Фридрих так и сказал: «Разрешаю, но понемногу». А то, что Юрген еле стоял, так это все от русской сырости, к которой он никак не мог привыкнуть.

— Ферлассен<sup>27</sup>, — Клос, приведший девчонку, зашел за занавеску и обнял со служивца за шею, уводя из чулана.

— Хальт<sup>28</sup>, — Юрген замер, глядя на печь. Вернулся, поставил недопитый стакан рядом со Степкой и взял с подушки «тряпошного» солдата. Покрутил игрушку, разглядывая голову-буденовку и красную звездочку, пришпиленную ко лбу, и захохотал, игриво, со смехом нападая солдатом на Клоса и крича на ломаном русском: «Я руссен партизан, пиф-паф, буду тебя немножко убивать, дойчен поджигатель...»

— Нихт, нихт, — подыграл Клос, и вдвоем, смеясь и отбиваясь от ватного красноармейца, они выскочили из чулана.

<sup>24</sup> Jawohl herr offizier (нем.) — «Слушаюсь, господин офицер».

<sup>25</sup> Bitte (нем.) — «Прошу, проходите».

<sup>26</sup> Kinder trinken (нем.) — «Дети, пейте».

<sup>27</sup> Verlassen (нем.) — «Оставь их».

<sup>28</sup> Halt (нем.) — «Стой».

Веселые вопли вызвали волну интереса, и толпа голых егерей бросилась смотреть устроенный Юргеном спектакль. Всем было смешно от того, как красноармеец ползал по стенам, скакал на венике, летал под потолком и то и дело нападал на солдат вермахта, пытаясь душиить, колоть буденовкой или бить по щекам своими маленькими ватными ручками.

Одним из стоящих в комнате был Вольф, сапер-подрывник. В начале войны в Полесье он похоронил весь свой взвод, подорвавшийся на минных растяжках. С тех пор Вольф не улыбался. Зная это, сослуживцы прозвали его «дюстер», что значит «хмурый», и без причины старались не задирать. Он первым не выдержал нападок тряпичного красноармейца, выдернул из рук Юргена игрушку, швырнул на стол и солдатским ножом, валявшимся среди объедков, пригвоздил комок ваты к деревянной столешнице.

Поступок Вольфа был понятен и одобрен.

Дружные аплодисменты возвестили, что спектакль окончен, а Юрген как организатор мероприятия жеманно стал кланяться, словно актер перед восторженной публикой.

Не смеялись только Танюшка и Степка.

Глаза у мальчика наполнились слезами обиды за своего подчиненного, попавшего в плен к фрицам. И там, в плену, после истязаний и унижений солдат был зверски убит. А он как командир ничего не сделал, чтобы спасти бойца.

Степка сосредоточенно думал, как наказать обидчиков, и придумал. Точнее, вспомнил случай, произошедший с саперами, когда те строили дорогу. Взял стакан, оставленный фрицем, понюхал и вылил коньяк на пол.

— Воняет? — спросила Танюшка, не зная, чего ждать от брата.

— Еще как, — Степан размахнулся и кинул стакан в комнату с криком: — Лягай, граната!

Стакан стукнулся об пол и покатился под ноги веселящимся фрицам.

— Фаллен<sup>29</sup>! — крикнул кто-то, падая на пол.

Зрелище было не для слабонервных.

Десять голых мужиков лежали на полу, замерев от страха. И когда поняли, что это шутка русского мальчика, шутить с детьми уже никто не хотел.

Их убили сразу, одной автоматной очередью.

Стрелял Юрген. Он знал, что Фридрих отдал приказ свидетелей на рассвете убраться, — ему сказал об этом Литке, выбрасывая окровавленную палку.

Так зачем же ждать?

Злость душила солдата вермахта за то, что он испугался пятилетнего мальчишку. Пули изрешетили детские тела, залив кровью все одеяло, на котором они сидели.

Юргена вытолкали из чулана, отобрав автомат.

Не глядя на печь, Клос задернул занавеску. Все молчали, каждый по-своему переживая произошедшее. Без шуток и смеха разобрали одежду и стали одеваться. Никто не смотрел в сторону чулана, зная, что там в полумраке на печи, держась за руки, сидели мертвые дети с широко раскрытыми испуганными глазами.

Даша была у колодца, когда услышала автоматную очередь в доме. Сердце стукнуло, подсказав: пришла беда. Руки дрогнули, роняя ведро в сруб колодца. Девчонка хотела побежать — и не смогла: отнялись ноги. Опустилась на колени и поползла, перебирая руками по мокрой траве. « Степа! Танюшка! » — звала она малых до тех пор, пока не получила ботинком в челюсть.

Удар был сильный, с оттяжкой.

Скула хрустнула, в глазах полыхнуло пламя — и Дарья, потеряв сознание, ткнулась лицом в землю.

<sup>29</sup> Fallen (нем.) — «Ложись!»

## ЧАСТЬ II. ТОПЬ

### Из дневника обер-лейтенанта Фридриха фон Зельца

30 октября 1941 г.

Сегодня я видел чудо — старик священник спас жизнь ничтожеству. Я не пойму, что толкнуло пятидесятилетнего человека сделать это. Что заставило отца обречь своих детей на сиротство?

Я не нахожу этому объяснения.

Умопомрачением я бы это не назвал: слишком ясным и твердым был его взгляд. Я не сдержался и застрелил его, а зря... Можно было бы поболтать. Спросить, ради чего весь этот маскарад. Отец за сына может отдать жизнь, но чтобы за чужого человека... То, что он им не родня, я понял еще возле церкви.

Жетон Шульца, за которым я, собственно, и шел, лежал в кармане гимнастерки. И еще от мертвеца пахло скипидаром и паленой кожей. Дурак. Думал, я не пойму. Хорошо, что нашелся жетон, иначе я бы с того «монаха» содрал шкуру. С ним у меня будет отдельный разговор. Он не солдат — тряпка. Мерзкая вонючая тряпка, о которую я буду вытирать ноги.

Клос принес из дома местного священника его фотографию. Все сошлось, и я, как всегда, оказался прав.

Приказал посадить «монаха» в сарай. Сейчас думаю, что с ним сделать... Я не садист, но хочется, чтобы он проклинал день, когда убил Шульца, а в голову лезет всякая ерунда: расстрелять, повесить, сжечь. Все это банально.

Только что рядовой Юрген устроил стрельбу.

Как доложил Литке, часовой пресек драку между русскими. Зря... Все, кто был в церкви, видели группу, и их надо убрать. Убрать всех, включая детей. В нашем деле свидетели не нужны. Милосердие тут неуместно и даже опасно.

Могли ли выстрелы услышать партизаны? Убедил себя, что вряд ли. Выстрел в лесу в ясную погоду слышен на 2–3 км. Сегодня слишком сильно шумит дождь, слишком сильно шумит лес. Такой гул, что не услышишь и выстрел из пушки.

Наконец-то в комнате потеплело.

Час назад Клос приводил русскую девочку, дочь священника. Она растопила печь. Ее зовут Дарья. Дал ей еды, чтобы отнесла детям. Говорит, ее брат в сарае вместе с монахом. Послал Литке, чтобы разобрался. Думаю, он переборщил...

Кажется, я уснул...

Тепло, рюмка коньяка и хорошие сигареты отвлекли меня от войны. Приходил Литке, доложил, что посты обошел, все спокойно. Я ему доверяю.

Читал цитатник Гейне. Мой земляк. Поразило его высказывание, отражающее поступок того старика: «В сущности, все равно, за что умираешь; но если умираешь за что-нибудь любимое, то такая теплая, преданная смерть лучше, чем холодная, неверная жизнь».

Задался вопросом: что ждет меня после смерти? Наверное, покой. Слишком я устал от войны... Много крови и мало шоколаду. Хорошая шутка. Надо будет нашему интенданту сказать.

Приходила Дарья, говорила со мной как с дикарем. Было смешно. Отправил Клоса с приказом, чтобы на печь воду не лили, а то лопнет. Дарья ушла с ним...

Наверное, я ревную.

Когда вернется Клос, скажу, чтобы привел девочку ко мне. Хочется отвлечься...

Смотрел в окно, как вода буквально на глазах покрывает деревню.

Считаю самым большим нашим промахом то, что мы перешли линию фронта в той самой униформе, что прописана по штату. Ботинки и гетры хороши для сухого леса. Солдаты просили разуть русских офицеров, я не разрешил — наверное, зря.

Юрген просто свинья. Вернемся в часть — отдам под трибунал. Спросил про Дарью — говорят, сбежала. Врут. Скорее всего, изнасиловали и убили. Теперь мне понятно, за что нас ненавидят русские.

А дождь все идет.

Не страна, а сплошная сырость, поэтому у них столько болот. Если дождь не прекратится к утру, все уйдет под воду. Лужи такие, что уже доходят до колен.

Выяснилось, что карта неверная.

В этом месте у нас нет никакой деревни. Сплошное болото. Где выход, никто не знает. С Литке ходили к брошенным мастерским, потом к болоту, через которое сюда пришли. Везде вода — от края и до края. Отто вызвался пройти с шестом и провалился. Еле вытащили.

След, по которому пришли, пропал, и где он — теперь одному Богу известно. Очень плохо. Лодок нет. А на плотках по болоту далеко не уплывешь. Кажется, мы капитально влипли...

Во всем виноват русский.

## ГЛАВА 7

Алешка как подхватил Федора со спины, так и сел с ним напротив двери. Ползти с изувеченным дьяконом в дальний угол было тяжело, да и бессмысленно. Хотел положить на землю, но Федор начал кашлять, захлебываясь кровью, которая пошла горлом. Пришлось приподнять и уложить мальчишку себе на грудь. Так и сидели: Алексей — привалившись к стене, а Федор — к Алешке.

Первым заговорил солдат, чувствуя, что виноват.

— Прости меня.

— Не вини себя, я первый начал, — видно было, что ему тяжело говорить: боль сковывала череп, лицо, рот. Федор поморщился и сказал: — Я скоро отойду...

— Брось, поживем еще. Тут всего лишь ссадина.

Алексей посмотрел на Федора. В месте удара была огромная гематома, размером с кулак. Череп не лопнул, и кровь, не найдя выхода, залила мозг, прекращая его работоспособность. Сплошной синяк расплывался под глазами, лицо потемнело и опухло. И, самое страшное, Федор не мог ровно сидеть, все время заваливался набок, и Алешка постоянно придерживал его за плечи.

— Я даже не знаю твоего имени, — диакон хотел повернуться и посмотреть на солдата, но тот удержал его, не давая двигаться.

— Алексей. Как отца твоего звали, так и меня.

— Але...ша, — Федор захрипел — и тонкая струйка крови побежала по губам и дальше к шее по подбородку. — А меня Федор.

— Ты не шевелись, — Алешка знал: Федор не жилец, да и он сам, скорее всего, тоже. Одному Богу известно, сколько проживет и какой смертью умрет рядовой 917-го стрелкового полка 249-й стрелковой дивизии Алексей Смирнов.

— Расскажи мне, какой Он... ваш Бог.

Федор молчал — то ли от боли, то ли собирал мысли, раскиданные ударом палки. Процесс отмирания клеток был стремительным. Сначала отнялись ноги. Дьякон хотел удержать колени согнутыми — и не смог, сползли, а поднять уже не получилось. Потом ослабла правая рука, за ней левая, речь стала вялой, тягучей. Дыхание отяжелело — и он захрипел, время от времени сплевывая себе на грудь сгустки крови.



Наконец он собрался с силами и сказал — немного, но этого хватило, чтобы Алешка смог уверовать. Пусть не по-настоящему, на кончик ногтя, но это был тот росток, о котором говорил Федор.

— Отец может защитить ребенка, мать может вымолить ему здоровье. Отец может накормить, мать может научить. И даже когда ребенок вырастет, они будут его любить. Но они не могут дать ему жизнь вечную. Господь наш — Отец наш. Он может все: накормить, научить, защитить, дать здоровье и жизнь вечную. Знаешь, как «Живый в помощи» заканчиваются? — и, не дожидаясь ответа, захрипел: — «Воззовет ко мне, и услышу его...»

— Звал, и не раз, а в ответ тишина, — перебил Алексей.

— Значит, не от сердца звал, от потребности. Потребность не позволяет взойти росткам жертвенности. Без жертвенности нет веры, а без веры нет в сердце Бога.

— Позови, пусть даст тебе здоровье! — Алексей все еще сопротивлялся, боясь признаться себе, что комсомольский стержень безбожника если и не сломался, то дал трещину.

— Зачем тревожить Бога по пустякам?.. Я выбираю жизнь вечную, — Федор замолчал, с трудом подбирая слова. — Спасибо тебе!

— За что?

— Что Ивана от греха отвел и детям жизнь спас.

— Все мы смертны.

— Смерти нет, — прошептал дьякон, разрывая склеенные кровью губы.

— Есть или нет, никто еще оттуда не вернулся, и спросить не у кого.

— Простые люди не приходят, а святые постоянно являются. У них и спрашивай ответы... Спроси у того, кто привел тебя сюда.

Это настолько шокировало Алексея, что он замолчал, переваривая услышанное.

— А как их увидеть... святых твоих?

— Сам стань святым.

— Ну ты загнул... Насколько я знаю, чтобы стать святым, надо полжизни в монастыре прожить.

— Дело не в том, где ты, дело в делах... — Федор провалился в небытие, прикоснувшись к свету, разгорающемуся вокруг него. Ему казалось, что это души любимых людей собираются в храме на праздничную службу. Очнулся через минуту и, не помня разговора, прохрипел: — И проси Господа обо всем. Он придет, не оставит. От сердца проси, с криком и верою, что поможет, — и опять впал в беспамятство, теперь уже навсегда.

Дьякон умер, не приходя в сознание.

Лежал на руках у Алексея, хрипел, хрипел и затих. Одновременно со смертью Федора по ту сторону дровяника что-то случилось. Красноармеец услышал выстрелы, девичий крик, топот фрицев и гортанные возгласы офицера. Смирнов аккуратно снял голову парня с колен, опуская на землю. Подполз к стене, выходящей в поповский двор, и припал к щелям.

Алешка видел, как из дома вынесли детей.

Вынесли на одеяле, с которого капала кровь. Так в одеяле и бросили за домом: раскачали и швырнули в лопухи. И еще он видел, как по земле в сторону погребца два фрица за руки волокли Дарью. Тащили лицом вверх. Платье задралось, и Алексей отвернулся, думая, что он зря прибежал в эту деревню...

— Господи, помоги! Господи, не оставляй! Господи... — Алешка помолчал, не зная, чего еще попросить, и крикнул, глядя на деревянный потолок, за которым представил огромное синее небо и Бога, сидящего на облаках: — Спаси меня, Господи, а я уж им отомщу...

Крикнул так громко, что офицер, вытиравший об порог грязь, прилипшую к

башмакам, повернулся и посмотрел в сторону сарайчика. Позвал егерей, толпившихся во дворе, и показал на дровяник.

Алешка, увидевши все это, похолодел.

— Вот я разорался, дурак! И надо же, поверил ведь, что спасет...

\* \* \*

Иван долго лежал в лопухах, не в состоянии сдвинуться с места. Хотел подползти и потрогать Степку с Танюшкой: может, живы? может, спят? — но не решился, помня о задании. Лежал в мокрой траве и ждал, когда немцы уйдут в дом. Дарьи нигде не было видно, и он решил, что они с Федором прячутся в лесу. А что мальх оставили — так и он в церкви отсиживался.

В душе была тоска, что не уберег братишку и сестренку. Одно его утешало: они уже встретились с отцом... И на какой-то миг ему захотелось к ним присоединиться.

Ванька смахнул слезу, слушая, как гроыхнула щеколда и голоса затерялись в доме. Минута тишины — и вновь зазвучала корявая речь, но уже у них во дворе. Оттуда же ветер принес веселый смех. Над чем они смеялись, мальчишке не было дела.

У них своя война, а у него своя.

Не поднимаясь, Иван пополз по мокрой траве к затопленной ложине. По ней незаметно можно было выйти к болоту, на краю которого стояла сосна. Величественная и красивая посреди затопленного луга. К ней он и шел по грудь в воде, разгребая плавающие ветви и листья. Сосна служила пограничным столбом, за ней метров через сто начиналась топь с корявыми вялыми сосенками и вечно бурными зарослями камыша. На дереве — в старом беличьем дупле, в армейском брезентовом мешке — лежал тот самый ревуn, что свел его с Сорокиным и был выдан Голикову старшиной Митрохиным под расписку.

Вот за ним и шел Ваня.

\* \* \*

— Проще пареной репы, — сказал Сорокин. — Увидел фрицев, достал аппарат, спрятался, чтобы не подстрелили, — и крути ручку. Лучше, конечно, залезть на дерево, так верней будет, что мы услышим. Ручку раскрутил — и все, звук пошел. Затихла — еще раз прокрутил, и еще раз. Три сирены — вот наш с тобой угонвор.

— А если не успею три раза? — Ванька был на вершине блаженства от того, что сидел в настоящей землянке с настоящими партизанами.

— И одного хватит, мы пойдем.

— А если кувалдой в рельсу? Она у нас на колокольне висит.

— Сынок, — Сорокин присел на корточки, обнимая мальчишку за плечи. — Ты пойми, война шуток не любит. Хорошо, если фриц тупой попадетсЯ и на колокольне не поставит пулемет, а если умный да опытный? Ну скажи мне на милость, как ты тогда на колокольню залезешь? И звук у рельсы глухой и короткий: бамц — и затих.

— Это как же надо колотить, чтобы мы услышали, — политрук по фамилии Авдеев точил карандаши. Они были трех цветов: красные, черные и синие. Желтые и зеленые замполит отложил в сторону, считая, что их не видно на полевых картах.

Иван почесал нос и согласился, что ревуn, весивший три килограмма, лучше, чем рельса. Его можно и спрятать, и с собой унести, если потребуется.

В землянку спустился Митрохин. В одной руке старшина держал тяжелый армейский мешок, во второй лист бумаги в клеточку. Все это добро старшина положил перед Голиковым.

— Пиши, — Митрохин сел на лавку, снял с плеча винтовку и поставил к стене.

Иван осторожно протянул руку за карандашом. Он почему-то боялся политука.

— Бери черный, красным только приказы подписывают.

— Что писать? — мальчишка посмотрел на старшину, подвигая к себе тетрадный листок.

— Как что? Расписку, — Митрохин оживился. — Я, такой-то такой-то, получил агрегат под названием «сирена переносная, ручная, механическая»...

— Ты бы еще придумал «армейская, полевая, образца тридцать девятого года», — Сорокин наклонился над чайником, слушая, как закипает вода.

— Так что писать? — Иван шмыгнул носом.

— Пиши: «Я, Иван Голиков, получил ревун для выполнения особо важного задания». Точка, подпись, — Сорокин дождался, пока Иван подпишет, и взял листок. В глаза бросилась подпись: «Ваня Голиков, с. п.». — Что такое «с. п.»? — командир поднял голову, с интересом разглядывая мальчишку.

Иван проямлил:

— Сын попа.

— Ну какого попа? — Сорокин полез за махоркой.

— Моховского... Отца Алексия я сын.

— Зачем ты это нам сказал?

— Я не мог вас обмануть.

Мальчишка хотел добавить: «Все известно, как советская власть относится к поповичам», — но благоразумно промолчал.

— Это даже хорошо, что ты из священнослужителей, — политрук отложил перочинный нож и поправил ремни на груди. — Христианская мораль не позволит тебе предать друзей. Ведь сказано в Писании: «Положи душу свою за друзей своих».

Иван кивнул, соглашаясь. Он слышал эту фразу, и не раз, но поскольку плохо знал священные тексты, так и не вспомнил, в какой из книг Нового Завета это написано.

— Евангелие от Иоанна, глава пятнадцатая, стих тринадцатый, — как бы отвечая на его вопрос, произнес политрук.

Сорокин и старшина с удивлением посмотрели на Пал Палыча.

— А вы как думали? Нас на курсах переподготовки заставляли все это наизусть учить, — для чего — политрук не стал уточнять, хотя и так было понятно: врага надо бить его оружием. Замполит взял бумажку, вникая в содержание. — «Ваня Голиков, с.п.»... Постучал пальцами по столу и выдал:

— «С.п.»... сын полка! — Авдеев повернулся к Сорокину. — Он же задание получил от тебя?

— Да.

— Вот и выходит, что Иван — такой же боец партизанского отряда, как мы с тобой, как Митрохин и все остальные. Пиши приказ: зачислить в отряд Ивана Голикова. Лично я не возражаю, — Авдеев взял красный карандаш, перевернул расписку и в углу написал: «С решением командира согласен».

— Ну ты голова, политрук! — Сорокин махнул пацану, отправляя восвояси. — Свободен, боец. Давай дуй до дома, — и бросил вслед: — Ты там помолись за Пал Палыча.

— Я за всех помолюсь! — крикнул Ванька, выскакивая из землянки.

Время перевалило за полдень, приближая день к концу.

Тусклый диск солнца то появлялся среди туч, то исчезал. Бесконечная морось с неба и затопленная ложбина, по которой брел Иван, напитали фуфайку. Кепка намочла и обвисла, словно блин. Ко всем бедам он потерял сапожок и теперь чавкал в одном ботике. Хотел скинуть и второй, но не решился: вода была холодной, к тому же на дне попадались острые корни.

Мальчишка дошел до сосны, поднялся на взгорок, на котором она росла, и сел под деревом. Снял сапожок, вылил из него воду, покрутил обувку в руках и бросил на землю. Лезть наверх в одном сапоге было глупо и неудобно.

А лезть было надо.

Голод заставил подобрать с земли шишку и сунуть в рот. Иван пожевал и выплюнул, сморщившись. Горечь, забив аппетит, вызвала тошноту. «Хрен редьки не слаще» — подумал Ваня и встал.

Кора была мокрая и скользкая.

Подъем наверх был тяжелым, и он порядком выбился из сил, пока дополз до первого яруса ветвей. Дальше было проще. С ветки на ветку пацан поднялся до самой верхушки. Здесь гудел ветер, а морось была похожа на мокрый снег.

Ванька уселся поудобней на ветку. Достал из дупла веревку и, прижавшись к дереву, привязался, крепко затянув узел. Осталось достать сирену и раскрутить ручку.

Отсюда хорошо было видно их дом, дровяник, возле которого стояли фрицы, погреб с открытым лазом, церковь, часового на колокольне, веер деревенских домов и затопленную дорогу.

Отец был прав: вода пошла.

Пока Ивен рассматривал родные места, машинально развязал мешок. Ревун доставать не стал: дупло было неглубокое и достаточное, чтобы там можно было вращать ручку.

Ваня перекрестился, сунул руку в дупло, сжал ручку и крутанул...

— Дышит? — спросил Юрген. Пока Клос щупал у девочки пульс, солдат ждал, нервно обкусывая заусенцы. Это он не рассчитал силу удара, вина в случившемся прежде всего того гаденыша на печи. И надо же было додуматься крикнуть: «Граната!» Дело в том, что по-немецки и по-русски «граната» звучит как «граната» и обозначает одно и то же. Юрген, с детства страдая неврозом, ухитрился обмануть медкомиссию и стать элитой Вермахта — горным стрелком. Кипр, Югославия, Франция не шли в сравнение с мрачной и злобной Россией. За два месяца нервы распались так, что он мог запросто убить кого угодно. Нужен был повод — и он нашелся.

— Вроде, дышит... Куда потащим? — Клос поднялся с корточек и бросил короткий взгляд в сторону соседнего дома, где Фридрих томился в ожидании русской девочки. Педант. Клос сплюнул на землю, вспомнив, как обер-лейтенант сам взял его сервировать стол. Вечер при свечах не получился. Выходка Юргена ускорила колесо событий, и Клос решил воспользоваться этим. Да не он один.

— Туда, — Юрген показал на погреб.

— Там сыро.

— Приличное место, и главное — сухо. Час назад лазил за продуктами. Достаточно светло, если не закрывать лаз. И в случае бомбежки всегда можно успеть штаны надеть. Ты же не хочешь прийти в рай без штанов? — Юрген хмыкнул, радуясь придуманной шутке.

— Не мой случай.

— Взяли, — вдвоем они подняли Дарью за руки и поволокли к виднеющемуся в конце двора погребу.

На крыльцо, выходящее во двор, высыпали солдаты, с завистью поглядывая на двух везунчиков. Пойти следом они не могли: война требовала бдительности, и быть в полном составе, застигнутыми в погребке врагом, не входило в планы егерей.

На листке бумаги составили список. Последним в нем стоял Фридрих. Солдаты мстили офицеру за глупо прожитый день, за то, что не разрешил снять сапоги с русских офицеров, и за «право первой ночи». Он первый захотел девчонку. Он ее получит, но последним. Если пожелает.

Юрген и Клос протащили Дарью мимо здоровяка Карла, справляющего малую нужду.

— Я следующий, — крикнул пулеметчик, не оборачиваясь.

— Эй, Карл, здесь очередь, — голос с крыльца утонул в дружном смехе.

— И какой я там по счету?

Отто посмотрел на бумажку, нашел имя и крикнул:

— Пятый.

— А кто впереди?

— Зигфрид и Ганс.

— Ганс в дозоре на торфянике. А Зигфрид на колокольне.

— Все по жребью, не придут — ты пойдешь.

— Гут, — Карл стряхнул капли мочи в траву, застегнул пуговицы на ширинке. Проводил взглядом спины сослуживцев и худые девичьи ноги, мелькнувшие и провалившиеся под землю.

Двадцать каменных ступенек вниз. Двадцать раз Дашкины пятки ударились о камень и один раз о землю. Ее бросили между бочек. Беспомощную и беззащитную.

Юрген уже бывал здесь.

Он по-хозяйски положил автомат на бочку с капустой. Расстегнул ремень, стаскивая через голову португую со множеством сумок для патронов и клапанами, удерживающими гранаты. Верхнюю одежду бросил на автомат. Под курткой был полевой светло-зеленый френч с погонами рядового и шевронами горных стрелков. Хотелось легкости, чтобы ничто не отвлекало. Юрген снял китель, оставшись в рубашке и брюках с подтяжками. На ногах красовались горные ботинки, поверх которых были натянуты грязные, мокрые гетры.

Пока напарник распрягался, Клос присел рядом с Дарьей. Взяв за опухшую скулу, повернул лицо девчонки к себе. Пальцами отвел прядь волос, упавшую на глаза, и, не увидев взгляда, вспомнил убитых детей: их мертвые тела на одеяле и головы, качающиеся в такт ходьбе, пока мелюзгу выносили из дома.

— Мне не нравится, что она без сознания.

— А я что могу сделать?

— Коньяк есть?

— Спирт.

— Дай, — Клос требовательно протянул руку.

Спирт был из той самой «эмки», что они расстреляли на рассвете. Юрген понемногу мародерствовал, как и все в группе. На это Фридрих закрывал глаза, требуя лишь одного: трупы не раздевать. Брали все: ордена, часы, именное оружие, провизию. Спирт был законной добычей Юргена. Другое дело, что он его утаил, никому не сказав, а ведь это стратегический продукт. Греет, дезинфицирует и стимулирует, если в малых дозах.

— Мне тоже нравятся пьяные женщины.

— Заткнись, — Клос отвинтил крышку и поднес флягу к Дарье. Приподнял девочку голову. Капли упали на губы и потекли, расплываясь по уголкам рта. Денщик нажал на щеки, открывая рот. Плеснул еще и ударил Дашку ладонью по лицу.

Дарья вздрогнула, закашлялась и открыла глаза. Осознав, где она и что с ней собираются делать, попятилась, заползая между бочек. Клос хмыкнул, разглядывая девочку, хлебнул спирта и протянул фляжку хозяину.

— Я первый!

Юрген был против и положил руку на плечо друга, сидящего на корточках.

— Это я ее вырубил и предложил пустить по кругу.

— Ты маньяк, Юрген. Когда мы выберемся из этой дыры, Фридрих отдаст тебя под трибунал. Он потребовал, чтобы я написал на тебя донос, как на поставившего группу под угрозу уничтожения.

Юрген был зол.

Зол на весь мир и особенно на обер-лейтенанта с его вечными придирками по службе. Желваки ходили по кругу, солдат хотел выругаться, но промолчал. Лишь выдавил из себя:

— Написал?

— Напишу, если не уступишь.

— Валяй, — Юрген щелкнул помочами и сел на предпоследнюю ступеньку. Нервно помял пачку, вытащил сигарету и сунул в рот, разглядывая спину офицерского денщика. Нож лежал вместе с ремнем на бочке. Всего лишь встать и протянуть руку. Убить Клоса не составляло труда, потом девочку — и все списать на нее. Пока размышлял, сжевал полсигареты, сплюнул горькие крошки табака, попавшие в рот. Оборвал пожеванный край и подумал, что ничего не изменится: Фридрих еще и денщика на него повесит. Из кармана брюк вытащил зажигалку, высек пламя и прикурил.

Клос приблизился к Дарье.

От нее пахло мыльной водой. Страху не было ни в глазах, ни в движениях. Она лишь глубже заползла между бочек, чтобы ее не сразу вытащили. Чтобы молитва успела дойти до неба и Пресвятая Дева Богородица с сонмом ангелов пришла ей на выручку.

Дарья хотела смерти, быстрой или медленной — без разницы. «Пусть режут, жгут, хоть утопят в бочке с огурцами. Только не позора. Смерть не оскверняет, а очищает», — думала девочка, разглядывая квадрат неба от незакрытой дверцы погреба. А самоубийстве не могло быть и речи. Самоубийцам нет места в раю. Даша вспомнила, как на вопрос Ивана: «Почему?» — отец ответил: «Бог дал жизнь, Бог взял жизнь. А тут получается самовольство. Я так захотел... Может, у Господа совсем другие планы были на тебя, а ты взял и за Него решил».

«Даже если это случится, претерплю до конца, — подумала Дарья и добавила: — На все воля Божья!»

Клос расстегнул китель. Куртку он оставил в доме, и ему не пришлось пыхтеть, как Юргену. Денщик протянул к девочке руки. Взялся за воротник ее платья и дернул с силой — так, что ткань не выдержала, затрещала, расплываясь на два ровных лоскута.

Дарья закрыла глаза.

Мысленная молитва переросла в шепот, потом в тихий, все нарастающий голос:

— «Пожаждь убо нам, Преблагая и Всенепорочная Дево, христианский конец живота нашего, мирен и непостыден, и сподоби нас Твоим ходатайством вселиться в обителях Небесных, идеже непрестанный глас празднующих радостию славит Пресвятую Троицу, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».

— Что она там бормочет? — Юрген был в нетерпении, залутив руку в штаны.

— Помощь зовет.

— Скажи, что помощь не придет.

— Я тоже так думаю, — Клос встал, отошел на метр, присел на корточки и дернул

Дарью за ноги, вытаскивая из щели, куда она забилась. Платье задралось, и денщик с силой втянул в себя воздух. Плоть разгоралась, и требовалось продолжение.

Пока денщик расстегивал штаны, Дарья опять забилась в щель, поправила платье и взялась за крестик, висящий у нее на шее. И вновь из ее уст зазвучала молитва — более громкая, более возвышенная: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его...»

И тут случилось то, чего никто не ожидал.

Неожиданно противно завывала сирена, оповещающая всех о возникшей опасности. Что за опасность и от кого она исходила, каждый понял по-своему. Первым вверх метнулся Юрген, забыв про оружие, китель и кепку. Бросил недокуренную сигарету в денщика и побежал, цепляясь пальцами за ступеньки. Клос лихорадочно натягивал штаны. А Дарья ликовала. Душу распирало невидимое счастье от осознания, что ее услышали...

Дашка набрала в легкие воздуха и заорала так, как никогда не кричала — по мужски, с хрипотцой:

— Партизаны... Урааааа!!!

И если бы не этот крик, полный восторга и ярости, все могло бы кончиться иначе. Фрицы, разобравшись, что это очередная шутка еще одного ее брата, вернулись бы в погреб...

Но крик спас ее.

Зигфрид, только что сменившийся на колокольне, был третьим в списке Юргена. Его предупредили, но не сказали, где. Он не видел, куда утащили русскую девочку, ничего не знал про заветный погреб, а просто шел... усталый и голодный. Шел мимо раскрытого лаза, положив руки на автомат, мечтая о коньяке и сухих носках...

Сирена заставила его дернуть затвор.

Крик из земной утробы: «Партизаны!» — и победный клич красноармейцев не оставили Юргену шансов на жизнь. Тень, кинувшуюся из подвального мрака, Зигфрид принял за русского бойца. Очередь распорол Юргена, швырнув вниз на Клоса. И все бы обошлось одной смертью, если бы из погреба не донеслось: «Гитлер капут!»

Звук сирены сдул егерей с крыльца, и никто не сказал Зигфриду, что там, в подвале, свои. Солдат с цветком эдельвейса на кепи присел у погреба, и кинул в темноту гранату, одновременно закрывая лаз. Взрыв прекратил крик и шевеление тел. Ударной волной сорвало крышку. Из погреба дохнуло порохом и гарью. В ответ егерь полоснул очередью из автомата и встал как победитель. Мол, смотрите, это я их уничтожил.

А сирена выла и выла, приводя егерей в нервное состояние...

## ГЛАВА 8

Алексей видел идущих к сараю егерей.

Один из них нес веревку. «Федора будут вытаскивать или меня хотят повесить? Скорее всего, меня. Зачем им мертвец?» Красноармеец прижался к стене, лихорадочно шаря глазами, как можно отсюда выбраться. Попробовал копать руками. Нереально. Земля под крышей сарая не получала влаги с момента постройки, и пальцы с трудом ковыряли ссохшуюся корку. Лопату бы или чтобы с той стороны кто подрыл...





— Клаус, — Литке кивнул второму пулеметчику, — заткни сирену, — фельдфебель показал пальцем в сторону улицы. — На сосне, триста метров отсюда. А вы... — унтер обвел взглядом сгрудившихся в сенях егерей, — идите и достаньте то, что осталось от Юргена и Клоса.

\* \* \*

Дверцу сарая никто не закрыл, и слава Богу!

Алексей был в легком шоке от того, что его не заметили. Вот, оказывается, как можно спастись. В дровянике было темно, только лучи света через пулевые отверстия пронизывали пространство, касаясь лица дьякона. Красноармеец поцеловал Федора в лоб и со словами: «Прости, брат», — прильнул к двери, дрожа всем телом. В голове зазвучал голос старичка-архиерея: «Останься, претерпи, спасешься до конца».

— Дудки! — сказал Алешка, не соображая, что противится.

Во дворе были немцы.

Стояли, курили, ждали кого-то. Подошел фельдфебель — тот самый, что убил Федора. Сказал пару фраз, егеря отсалютовали и побрели по улице в сторону околицы.

«У них там пост, — решил Алексей, — в лесу или в крайней избе; а второй на колокольне возле церкви». Он почему-то подумал, что фрицам хватит и пары дозоров. Третий лишний. А если не лишний, то жить ему мгновение. Подстрелят раньше, чем он добежит до дороги. Бежать решил туда. Там среди армейского хлама можно было укрыться, и там же была тропа жизни, по которой он сюда пришел.

Сердце стучало, словно молотилка. «Вот сейчас, вот сейчас», — думал солдат и не решался до тех пор, пока не завыла сирена и фельдфебель не кинулся на крыльцо.

С первыми звуками Алексей высунул голову, глянул, что никто не видит, и побежал, петляя и пригибаясь к самой земле. Бежал, подхватив с двух сторон мотающийся между ног край рясы и каждую секунду ожидая очередь из автомата в спину... Очередь была, но адресована не ему. Глухая и далекая. Следом рванула граната — где-то за дровяником. Алешка добежал до лежащего на боку грузовика и упал в колею — вязкую, тягучую, словно смола.

Надо было спешить.

И Алексей пополз, раскапывая податливую грязь черными перепачканными руками. По ту сторону грязевого моря был вход, через который он пришел в эту забытую Богом деревню. Значит, там должен быть и выход. Красноармеец сполз с насыпи к затопленному лугу и затаился, выжидая, когда можно будет сорваться и побежать.

«Откуда пришел, туда и уйду».

Мысль была здравая, но малоисполнимая. Найти проход, по которому он прибежал, было нереально. Вода поднялась, затопив низину, и теперь перед солдатом расстилалось одно огромное, бескрайнее море — точнее, болото. Алешке казалось, что где-то вдали, в тумане, он видит деревню.

А может, и не деревья, а тени мертвых людей.

Он не знал, кто запустил сирену. Но в мыслях было только одно имя — Иван, и солдат был благодарен мальчишке за то, что тот спас ему жизнь. Сначала отец, теперь сын...

Красноармеец перекрестился, слушая, как застучал пулемет на том краю деревни. А сирена выла и выла, пока не стала затихать. Не имея подпитки в энергии, вырабатываемой с помощью вращения ручки, крыльчатка вращалась все

медленней и медленней. Поток воздуха ослаб, и ревун выдавал лишь легкий свист. Еще минута — и наступила тишина. Ликая и неприятная.

Алексей покрутил головой, соображая, куда шагнуть.

Страх гнал его прочь, и то, что он все время крестился, было больше от нервов, чем от рассудка. Хотелось бежать без оглядки — подальше от хмурых, неприветливых болот, от темного силуэта церкви и от мертвых Голиковых, лежащих по всей деревни. От фрицев и от войны.

Он забыл, что обещал Богу.

Забыл священника, спасшего ему жизнь. Забыл, как целовал Федора в лоб; забыл Дарью — истерзанную, но не сдавшуюся; забыл Степку с Танюшкой; забыл Ивана, давшего время на побег; забыл всех, кому обязан был жизнью.

Раз, два, три...

Алешка привстал и шагнул в воду. Он не прошел и метра, как ухнул в омут. Вынырнул, отплеывая грязную, мутную воду. Подгрреб к насыпи и, поймав трепещущую на ветру ветку ивы, выбрался на берег. Пригнувшись почти к самой земле, прошел пару метров — и вновь шагнул в неизвестность. И снова яма. Побахтался, отплевался и решил плыть.

Но плыть не смог.

Уперся в край ямы. Решил выбраться и продолжить движение. Вплавь или на карачках — ему было все равно, главное — подальше от фашистов. Хотел перелезть, но не смог. Руки тонули в жиже. Алешка боролся, захлебывался, фыркал грязью и буксовал на месте, не продвинувшись ни на сантиметр к заветному выходу.

Тогда он развернулся и поплыл в сторону деревни.

Нащупал руками пучки спутанной травы, ухватился и потянул на себя. Трава рвалась, не давая возможности выбраться из водяной ловушки. Пришлось сменить направление и грести вдоль насыпи. Алексей нашел торчащий корень и, разрывая им мягкую, податливую землю, выбрался на берег.

Упал обессиленный и заплакал...

— Да что же это такое? — сквозь слезы шептал Алешка. — Из дровяника выскочил живым, а из деревни уйти не могу! Ненавижу это место! — он вытер грязной камилавкой слезы, измазав лицо, встал и, пригнувшись, побежал вдоль насыпи. Пробежал метров сто — и замер. От насыпи в сторону церкви шла гать. Та самая, что строили немцы. Утонув в грязи, лесенкой лежали тонкие свежесрубленные деревца с завядшими, но еще живыми листочками.

Вот он, выход.

Красноармеец стоял возле того самого места, откуда пришел. Хотел снять шапку перед немецкой педантичностью и чистоплюйством, но не стал. Слишком много немцы принесли ему проблем. Слишком долго он шел к свободе. Слишком часто хоронил себя сегодня.

Однако все еще жив.

Алексей улыбнулся, радуясь своей везучести. Мысленно сказал: «Прощай, немытая деревня», — и шагнул на насыпь...

\* \* \*

Сорокин чистил наган, когда в землянку скатился вестовой.

— Сирена, товарищ командир, — боец кинул руку к мокрой пилотке и захрипел от долгого бега.

— Откуда звук?

— Кажись, из Мхов.

— Кажись? Точнее надо.

— Так ведь дождь как из ведра. И лес шумит. Мы с Коляном как вышли к просеке — сразу услышали, что воет. Думали, почудилось, и оно затихнет — завоет, затихнет — завоет.

— Три раза было?

— Больше, товарищ командир. Раз пять. А потом смолкло вроде.

— Выстрелы слышали?

— Да говорю же: лес шумит, будь он не ладен.

— Пал Палыч, — Сорокин глянул на сосредоточенного политрука, — командуй отряду «В ружье!» А я к радисту, сообщить надо, — командир выскочил из землянки, доставая на ходу карту-верстовку, и побежал к соседнему блиндажу.

Сорокин уже был извещен, что у него на участке утром диверсионная группа расстреляла две машины с начсоставом 22-й армии. Разведка, исходившая не один километр, не принесла результатов: фрицы словно испарились. Приходилось уповать на случай, который не заставил себя ждать благодаря бойцу Ване Голикову.

Первыми ушли разведчики Шевцова. За ними через десять минут двинулся основной отряд: три группы по семь человек. Забрали даже повара, оставив в лагере только кухарку и бойца со сломанной ногой. Каждый человек был на счету. Шевцов сообщил, что, судя по количеству следов, «эмки» накрыл отряд из десяти-пятнадцати человек, вооруженных автоматическим стрелковым оружием и одним (точно установлено) пулеметом. Нашли еще затоптанную площадку метр на метр, но что на ней стояло — не смогли определить.

Так как они находились у себя в тылу, отряд Сорокина был небольшой. Только в случае прорыва фронта и стопроцентного попадания в тыл противника из деревень начали бы стекаться партизаны. А так приходилось довольствоваться двадцатью пятью бойцами, полагающимися по штату, и начсоставом из трех человек.

Первой группой командовал Сорокин, второй — его заместитель Саша Попов, молоденький лейтенант из военкомов; третью группу возглавлял политрук. Так и пошли — ручейком, держа друг друга в поле зрения.

Согласно полевым картам, с севера к Мхам прилежала трясина с поэтичным названием Бурчала, а с трех остальных сторон деревню запирали Мшаны — торфяные болота, местами проходимые, местами нет.

Болого и трясина — не одно и то же. Через топь, зная тропу, можно пройти, а вот в трясину лучше не соваться. Сожрет — и не спросит, как звали.

В отряде не нашлось ни одного человека, знающего проход через Мшаны. Пришлось делать крюк и выходить к торфопредприятию. От лагеря партизан до мховской церкви по прямой было километров пять. Даже по шоссе час хода, а вокруг, да по лесу, да по бездорожью, да с опаской, чтобы не напороться на немцев, выходило почти пять часов.

Отец Алексей оказался прав, говоря Ваньке: пересытятся дождевой водой болота и дадут течь. Так и вышло. Сначала ручьи, потом потоки, вилия между деревьев, медленно, но с невероятным упорством стали заполнять низины и овраги.

К мховской дороге вышли часов в восемь вечера — мокрые с головы до ног, хоть выжимай. Залегли между деревьев, прикидывая, как можно форсировать расстилающуюся перед ними водную гладь.

Деревья утопали в воде, сумраке и тумане.

Впереди был торфяник, изрезанный вдоль и поперек затопленными каналами. Так добывали торф: вынимая полезную массу, оставляли в земле траншеи, которые постепенно затягивались водой и раскис.

Бойцы полезли за шахрой, но Сорокин пресек:

- Не курить!
- Товарищ командир, — зашептал кто-то в темноте, — погреться.
- Фриц тебя погрееет, если унюхает.
- Так он что, собака, что ли?
- Хуже.

Послышались смешки. К Сорокину подсел Авдеев.

- Какие планы?
- Ждем Шевцова и его ребят.
- Курить хочется, — политрук достал готовую самокрутку и зажал зубами.
- Еще один? Я же запретил.
- Да я не курю, дай хоть пожевать табака.
- Хоть сожри, я не против.
- Злой ты, Василий.
- Будешь тут злым... Не война, а сплошная регата.
- Это ты точно подметил, — политрук сморщился и выплюнул самокрутку.

Махорка была мокрой и горькой.

Минут через десять послышался плеск — и, словно водяной, из-под косогора вылез сам Шевцов, командир разведки. Голова, плечи и даже усы у него были покрыты тиной и мокрой листвой.

- Ну, что у тебя? — зашептали одновременно Сорокин с политруком.
- Вроде никого.

— Пил? — Сорокин поморщился от запаха спирта, пары которого выдыхал командир разведки.

— Не выпьешь — не доплывешь. Не май месяц, вода такая, что судорогой сводит. Перед мастерской глубина выше головы. Там канал, его не обойти. Придется плыть.

- Ты про немцев скажи.
- Темно... Ни хрена не видно.
- Камни кидал?
- Кидал, не реагируют.
- В помещение заходил?

— Да, и на чердак заглядывал. Нет никого, — Шевцов помолчал и добавил: — только фонарем не светил.

- Правильно сделал. В нашем деле нужна скрытность.

— Похоже, там нет никого, — из темноты появился Попов, бывший селижаровский военком.

— Может, и никого, только я не верю в это... Давай отожмем, — Шевцов прислонил автомат к дереву, снял мокрую фуфайку и один край протянул военкому.

- Почему не веришь? — спросил Сорокин.

- Серьезные немцы.

— С чего ты взял? — выкрученная фуфайка уже не давала влаги, и военком отпустил край, наблюдая за Шевцовым.

- Ты же читал сводку. Один железнодорожный и два автомобильных моста.

— Не исключено, что в нашем квадрате действует несколько групп, — политрук был против того, чтобы все диверсии приписывать одной команде.

— А если это одна и та же бригада, — не унимался Шевцов, — будет нам тут «кирдык с почестями».

- Струсил?

- Я не о себе, я о пацанах необстрелянных. А там егеря.

- Откуда тут егеря?

— Когда по лесам бегали, на труп фрица наткнулись: в горных ботинках, гетрах и нашивка на рукаве. Кто-то хорошо его пригрел саперной лопаткой. Немцы

в овраге его похоронили. Засыпали листвой и ушли. А лисицы разрыли. Мы хотели за живыми пройти, но дождь след смыл.

— А что сразу не доложил?

— Так когда? Не успел в лагерь зайти, уже орут: «Шевцов, дуй срочно к торфяникам, там встретимся». Да и что бы это изменило?

— Да, дела... — подвел неутешительный итог Сорокин, и все замолчали, обдумывая план дальнейших действий.

— Если их человек пятнадцать, то в дозоре не больше двух. Вряд ли они знают, что Бурчало непроходимо, а в Мшанах надо еще тропу знать. А раз так, должны быть еще дозоры по периметру села. И не могут же они все этим заниматься. Кто тогда будет отдыхать? — Попов как человек военный знал, что говорил.

— А где твои орлы? — спросил политрук про подчиненных Шевцова.

— В деревню послал, пусть прощупают, а сам к вам поплыл, предупредить.

— Правильно, — Авдеев посмотрел на командира. — Что делать будем, Василий?

— Передать по цепочке, — Сорокин привстал на колени, чтобы видеть всех. — Задача номер один: выйти к торфопредприятию и закрепиться. В деревню без разведки не входить. Движемся тремя группами параллельно друг другу. Пойдем в темноте. Если кто выколет глаз о ветку — не орать, начнет тонуть — не звать на помощь. Спасаться самому, а лучше тихо утонуть, не выдавая диспозицию. Все звенящие предметы оставить здесь. Ружейные ремни снять и убрать в вещмешки. Подсумки и гранаты приторочить покрепче. Затворы не взводить. Оружие нести на плече или над головой. Впереди идущим разобрать сляги. Всем понятно?

— Так точно!

Гул одобрительного шепота пополз между деревьями.

— Мысленно докуриваем и строимся, — командир поднялся, поправляя ремни. Из головы не выходили пятнадцать шмайсеров и пулемет — тот, о котором он знал точно. Пехота с одним пулеметом вряд ли бы так нагнела. Рванули бы мост — и бегом к своим, а эти лазят по его квадрату и шмаляют налево и направо. Точно егеря, и пулемет у них еще один есть. И это все против двадцати винтовок, одного ручника, ППШ и трех наганов.

Про миномет у немцев партизаны не знали. Да оно, наверное, и к лучшему.

### **Из дневника обер-лейтенанта Фридриха фон Зельца** *(продолжение)*

Что-то пошло не так. Словно кто-то ведет с нами свою игру.

Только что выла сирена. Да так сильно, что егеря заняли оборону во дворе. Послал солдат узнать, кто запустил и зачем... Хотя и так понятно: задача — предупредить партизан или отряды НКВД.

Монах сбежал. Я приказал обыскать каждый дом, каждый чердак, сарай и погреб. Осмотрели. Его нигде нет. Есть версия, что утонул. Хочется в это верить.

Из погреба достали Юргена и Клоса...

У всей группы шок: как такое могло случиться? Трое за один день... Велел забрать жетоны и отнести трупы в дровяной сарай, а мертвого русского бросить в погреб к его сестре.

Хоронить своих будем на рассвете с почестями.

Клаус застрелил мальчишку. Тот сидел на сосне и крутил сирену. Сидел, призвавшись к дереву. Зная, что найдут и застрелят... Однако сидел и крутил.

Какое-то звериное племя.

Путром чую, что будет большая драчка. Мальчишка знал, кому подавал сигнал. Жаль, мы не знаем этого и можем только догадываться, сколько придет и

когда. Думаю, на рассвете. Приказал всем рассредоточиться по домам по двое — на случай внезапной атаки. Со мной теперь Литке.

Клос, Юрген и Шульц уже на небесах... Ибо таковых есть Царствие Божие... Амен!

Все время думаю про партизан.

Надо быть полным идиотом, чтобы вести отряд ночью через болото. На часах восемь. Спать не хочется, а надо. Впереди тяжелый день. Главное — не линию фронта перейти, главное — отсюда выбраться.

Отто сказал, что тот луг, по которому мы пришли, на самом деле торфяное болото. И то, что никто не провалился, — дело случая. Говорит, нет гарантий, что пройдем. Я ему верю, он потомственный охотник.

Чувствую, что это западня.

Слишком долго мы здесь задержались. Надо было забирать жетон и сразу уходить, пока след был виден. Есть мнение, что Шульца нашли, сирена подняла часты НКВД, и нас уже ждут. Без боя я не сдамся.

А вот монаха нигде нет...

## ГЛАВА 9

Шагнул Алешка не в грязь, что по колено, и даже не в очередной омут, а в топь.

Не везло ему капитально. Обманул кого... или деревня просто не хотела отпустить? Но он вновь провалился. Прямиком в одно из окон, мимо которых его утром с такой легкостью провел старичок-архиерей. Дерн лопнул, и струя вонючей коричневой гадости чавкнула в лицо. Пошли пузыри, запахло тухлыми яйцами и смертью.

Это была трясины.

Все тело словно обмотали бинтами. Ни руку оторвать от поверхности, ни ногу задрать. Только и мог, что головой крутить. Было ощущение, что он попал в тесто. Плыть не получалось, только барахтался, медленно погружаясь в липкое месиво. К ногам будто привязали гирю, которая тащила его вниз. Алешка дернулся, пытаясь выпрыгнуть из болота. Ноги не нашли опоры, и он лишь пошевелился, раскачав болотную массу и уйдя еще в глубь трясины.

Сколько можно продержаться, если лежать и не двигаться? Полчаса, час? Наверное, меньше. Он чувствовал, как сантиметр за сантиметром подбородок приближается к поверхности темного, дурно пахнущего болота. Лучше бы фашисты пристрелили, чем вот так медленно умирать позорной смертью.

Красноармеец открыл рот и тихо, больше для успокоения, прошептал:

— Помогите кто-нибудь.

Бегал, прятался, спасался, молился — и попал... Все получилось как-то глупо и некрасиво. Берег рядом, метра два, а не достать, не дотянуться. Знал бы, что так выйдет, веревкой бы обвязался. Только страх затмил разум: не думал, бежал, как заяц.

А он и есть заяц.

Алешка не мог понять, почему бежал, почему бросил, не отомстил, а ведь обещал... Начал искать оправдания и нашел: он один, а их много, и оружия у него нет...

И тут дошло.

Обманул! Пообещал — и не исполнил. Нет оружия — грызи зубами, выбили зубы — души руками, перебили руки — бей ногами, сломали ноги — молись, чтобы сдохли.

— Я все понял, Господи! Помоги! — солдат протянул руку в надежде, что придет старичок, возьмет за ладошку и вытащит непутевого из трясины. Но, увы.

Никто не приходил, не брал за руку и не тянул. Только болотные газы время от времени пучили растревоженную поверхность. — Господи, не хочешь спасти меня — добей. Только знай: я не самоубийца. Не по своей воле шагнул в трясину. Струсил я!

Алексей устал тянуть руку и опустил, вызвав колебание трясины и погружая себя еще на пару сантиметров в бездну, к вурдалакам и упырям.

\* \* \*

Пока было светло, Отто и Литке по приказу обер-лейтенанта искали проход в болотах. Методично обходя деревню по кругу, педантично наносили на карту результаты исследований. Каждые пять метров останавливались и спускались к воде, шестью прощупывая дно. Если была возможность пройти вперед — шли. Но все время возвращались на берег, злые и измученные.

Видно, кто-то не хотел их отпускать.

То шест уйдет под воду на всю длину, не доставая до дна; то прорвут травяной слой, под которым трясина; а то мхи попадутся: палкой не проткнешь, а человека не держит.

Уставшие, мокрые и грязные, егеря остановились возле торфопредприятия.

В черном деревянном сарае, бывшем когда-то мастерской по ремонту драг, сидел их дозор. Литке поднял руку, салютуя. Оттуда прилетела шишка. Унтер улыбнулся: потеря друзей не лишила егерей оптимизма.

Фельдфебель присел на корточках, достал из палашета карту и в середине огромного заштрихованного пятна с нанесенными топографическими метками, обозначившими болота, нарисовал круг, написал: «Дорф<sup>31</sup>», перечеркнул и сделал еще одну надпись: «Кайн аусвег<sup>32</sup>».

Отто заглянул через плечо. Прочитал написанное и робко возразил:

— Но как-то мы сюда пришли.

— Это мышеловка, Отто. Неужели ты не понял? А сыр — тот самый русский, что привел нас, а потом сбежал.

То, что вместо красноармейца Фридрих убил русского попа, знала уже вся группа. И такой ответ несколько обескуражил Отто. Он сел на старый ветхий пенек рядом с фельдфебелем, подпер щеку рукой и стал смотреть на темную воду, не подающую никаких признаков жизни. Даже лягушки не квакали. От болот веяло смертью, и солдат вермахта это явственно чувствовал.

— Да здесь он где-то, нутром чую, — обведя взглядом болото, Отто коснулся автомата. Рядовому было неуютно, хотелось нажать на курок, распороть тишину и закричать: «Хильфе<sup>33</sup>!»

— Найди его — и Фридрих отдаст тебе бутылку коньяка.

— Хорошо было бы, — Отто кивнул, думая о призовой бутылке, выставленной обер-лейтенантом за поимку монаха.

Литке встал, хлопнув по коленям.

— Пошли! Скоро круг замкнется. Мы выйдем к тому месту, откуда начали маршрут. После чего я смогу доложить обер-лейтенанту, что погоня за русским вышла нам боком.

Отто понял, о чем говорит фельдфебель. Речь шла о церкви. От нее начали делать замеры, возле нее и закончат.

---

<sup>31</sup> Dorf (нем.) — «деревня».

<sup>32</sup> Кайн аусвег (нем.) — «Выхода нет».

<sup>33</sup> Hilfe (нем.) — «Помогите!»

Еще в первых числах октября областное управление НКВД перебралось в Калинин. Туда и пришла радиограмма от Сорокина. На улице был день. Окна в целях безопасности были зашторены, горела лампа, и тихо тикали напольные часы. Василий Гаврилович писал, что информацию проверяет. Это уточнение несколько не повлияло на принятие решения.

На предложение коллегии подождать подтверждения от Сорокина майор Токарев, начальник НКВД по Калининской области, размахисто подмахнул приказ. Со словами, обращенными к своим замам: «Когда проверят — будет поздно, — протянул офицеру связи документ и добавил: — Передавайте с пометкой “молния”».

Слишком велика была вероятность того, что это та самая группа, которая наделала столько шороху в двух прифронтовых районах области.

И уже через пять минут приказ разошелся получателям: командирам близлежащих военных гарнизонов, комендантам станций, в органы НКВД, начальнику районной милиции и в особый отдел 22-й армии. Всем предписывалось незамедлительно привлечь имеющиеся у них под рукой команды и резервы для ликвидации вражеской диверсионной группы, обнаруженной в районе деревни Мхи, и оказать помощь отряду Сорокина в уничтожении диверсантов. При этом надлежало проявить максимальную скрытность, выучку и беспощадность к врагам Родины.

— Все свободны. Докладывать по мере поступления информации, — майор отпустил членов коллегии и подошел к карте.

Моховское болото своей подковой огибало железнодорожную ветку. Где-то там был Сорокин, от которого сейчас зависела судьба мостов, дорог, поездов. Всего того, что связывало тыл с фронтом.

От Калинина оборонительная линия, извиваясь, тянулась на запад, а в Селижаровском районе фронт резко менял направление и под углом почти в семьдесят градусов уходил на северо-запад, к Осташкову, и дальше к самому Ленинграду. Получался стратегический выступ, который надо было удержать любой ценой.

Калинин немцы взяли неделю назад.

Теперь фрицы долбили дыру в районе Луковниково, на стыке 22-й и 29-й армий. Били с задачей рассечь калининскую группировку, окружить русские части и, обойдя город с севера, наступать на Москву. Мнение об ударе в тыл Северо-Западному фронту, как и версию о перекрытии ветки Бологое — Бежецк, начальник НКВД не то что игнорировал (по должности не положено), скорее считал второстепенным. Дальше Торжка только топи. Прорыв пехоты без танков и артиллерии, которые наверняка бы завязли в болотах, был равносильен самоубийству. А вот на юго-востоке и дороги были, и леса пореже, и полей побольше — то, что нужно танковым клиньям.

Вот и получалось, что кровь из носа, а немца нужно было остановить перед Торжком, сковать силы противника и принудить к позиционным боям.

Но планы путала неизвестно откуда свалившаяся группа диверсантов. Не просто переодетых окопных вояк, которых выявляли пачками, а самых настоящих профессионалов, с двумя пулеметами и минометом. Из него они и обстреляли колонну с новобранцами. Поэтому Токарев и просил особый отдел 22-й армии выделить два, а лучше три легких танка.

— Эх, Сорокин не знает про миномет, — майор помассировал лицо и подошел к окну, отводя штору. За стеклом висел серый сумрачный день в косых полосках дождя.



Эрих лежал на животе на чердаке мастерской в ворохе прошлогоднего сена. Лежал, наблюдая за рябью от полощущего дождя. Он увидел русских раньше, чем они его. Острое, почти кошачье зрение не подвело. Среди сгущающейся тьмы дозорный интуитивно уловил движение силуэта, скользящего за дерево. Если это не водяной, он должен себя обозначить.

Так и вышло.

От дерева отделились трое, шагнули в воду и пропали. Но Эрих разглядел. Три головы с поднятыми вверх руками, держащими оружие.

То, что это разведка, Эрих не сомневался. Слишком долго выжидали и скрытно шли. Егерь встал на колени, разворошил руками слежавшееся сено и полез в дальний темный угол, под самые стропила. Уже там, устроившись, словно на наесте, услышал, как камешек стукнул по стеклу, как бы выманивая.

Чердак не был сплошным, занимая лишь треть цеха. Внизу стояли верстаки прошлого века, завезенные сюда еще купцом Моховым, основателем Моховского торфяного товарищества. Он же поставил пяток домов и церковь, в которой служили только по праздникам. Набрал рабочих — и под звуки гармошки и хлопающего шампанского торжественно открыл производство.

Торфоразработка окупилась через два года. Дешевое топливо купец продавал на железную дорогу, на заводы, возил в Москву. Через год поставил остальные дома и поехал к владыке в Тверь — просить священника на постоянное служение. Еще через год в Мхи приехал молодой иерей Максим Голиков с женой Ульяной и детьми — Алешкой, Марией и Татьяной.

Всего этого Эрих не знал. Как и того, что за церковь в крапиве лежит тот самый Алешка, сын Максима Голикова. А рядом, за алтарем, покоятся останки самого Максима. И даже если бы Эрих знал о двух Голиковых, это не вызвало бы в его душе ни малейшего трепета.

Он пришел в Россию не миндальничать, а убивать.

Пол был покрыт толстым слоем пыли, и Эрих, чтобы не наследить, залез на чердак через крышу, используя веревку и крюк, как это сделал до него Ганс. Лестницы не было, и это успокоило егеря, явно не желающего вступать в огневой контакт с русскими.

Разведчики крадучись обошли здание с обеих сторон. Заглянули в разбитые окна, в огромный ведущий в цех проем с распахнутыми настежь воротами. Ветру ничто не мешало гулять между верстаков, на которых лежали брошенные за ненужностью инструменты.

Через прицел автомата Эрих видел, как старший присел у порога, рассматривая пылевой слой, чем вызвал мысленную похвалу горного стрелка. Слой пыли был нетронутым — с крошечными дюнами от ветра у входа и ровными барашками по всему залу. Без следов ног или веника.

Русский встал и, махнув бойцам, увел их за угол.

Уходить со стропил было рано, и егерь продолжал терпеливо ждать, мысленно отсчитывая секунды. На числе сто услышал звук цепляющегося крюка и шарканье ног по стене и через пару секунд увидел голову, появившуюся в слуховом окне.

У Эриха было преимущество: он находился в темноте, в то время как русский заглядывал с улицы. Гляделки продолжались пару минут. Разведчик искал следы слежавшейся соломы. Не найдя, исчез так же, как и появился.

Эрих выдохнул, снимая палец с курка. Досчитал до шестидесяти и только после этого подполз к окну. Через затопленную низину вглубь леса уходила одинокая фигура. Где-то были другие двое, а вот где — дозорный проглядел.

Солдат вермахта глянул на часы.

Смена была на подходе, и Эрих опасался, как бы русские не подстергли егерей. Одно дело — знать и ждать, другое — не знать и напороться на засаду, с ножами да со спины... Он вспомнил Шульца и его предсмертный стон, который принял за крик птицы. Дозорный решил предупредить своих.

Через крышу не полез: была велика вероятность, что русские услышат грохот железа. Спрыгнул в цех, подняв облако пыли. Зажал нос, чтобы не чихнуть, и мелкими перебежками добрался до ворот. Присел, осматриваясь.

Русские не давали ему покоя.

В деревню был один путь, но вот далеко ли они ушли? Ждать, когда придет смена, было невыносимо, стрелки часов не хотели двигаться. Искать разведчиков в темном лесу было тоже бессмысленно — можно напороться на штык или пулю. И Эрих принял единственно верное решение: идти на огневой контакт с основными силами русских.

Умирать дозорный не собирался.

Хотел предупредить своих. Пугнуть русских, остановить, задержать. Дать время подойти Фридриху с егерями. Эрих похлопал по бедрам, убедился, что запасные обоймы и гранаты на месте, и скользнул за угол, растворяясь в облаке тумана, ползущего из низины.

\* \* \*

В тот самый момент, когда Литке с Отто нашли свои же мостки, Алешка дышал только носом, сжав губы. Жижка заливала ноздри, и он как мог задирает голову, то и дело сплевывая жижку, каким-то образом затекающую в рот. Увидеть черную, измазанную грязью голову в черной скуфейке было практически невозможно. Не голова, а болотная кочка, облепленная тиной и ряской.

Но фриц разглядел.

Отто был охотником с малых лет. В горах Австрии выслеживал оленей, волков и кабанов, под Краковом — беглых польских солдат, в Югославии — сербских партизан. Это было в крови — слушать и ждать. Вот он и услышал тяжелое сопение, идущее от болот, и придержал фельдфебеля за локоть, опережая на полкорпуса. Снял автомат с плеча и, спустившись с насыпи, присел у воды.

Перед ним всего в паре метров торчала голова монаха, которого они безуспешно искали целый час.

— Ком, — Отто поманил Алешку пальцем, предлагая грести в его сторону.

Вот когда пришло время выбирать: смерть или плен. Красноармеец пробулкал что-то невнятное, непонятное фрицам, но очень даже понятное ему самому — Алешке Смирнову, дезертиру 917-го стрелкового полка 249-й стрелковой дивизии. Он хотел вытянуть руку, козырнуть по-офицерски и с гордо поднятой головой красиво уйти в трясину.

Руку не вытянул — болото не отпускало. Только дернул головой, выплевывая очередную порцию жижи. С приходом фрицев ему стало все равно. Он знал: за воротник не схватят, а руки им не подаст. «Лучше утонуть», — решил Алешка, разглядывая темное небо.

Только сейчас он заметил, что дождь перестал. В лесу крикнула одинокая птица, требуя соблюдать тишину. Стукнул дятел, и лес опять зашумел, исполняя один и тот же заунывный ветреный вальс.

Отто и Литке думали, что делать с монахом.

Конечно, его следовало бы повесить или расстрелять как беглеца, но, учитывая ситуацию, решили оставить в живых. Литке был, наверное, единственным в группе, кто верил в случай, судьбу, предназначение, посещал медиумов, ходил к гадалке и носил на груди амулет от случайной смерти. Он, собственно, и настоял

на том, чтобы Отто вытащил монаха. Аргумент был не веский, но вполне убедительный.

— Он, — Литке показал на монаха, — нас сюда привел, ему и выводить. Без него мы покойники. Он утонет — мы утонем. Он спасется — мы все спасемся.

— Не вижу связи.

— Ну вот скажи мне, Отто, почему он до сих пор жив? Все русские в этой деревне мертвы, а он жив.

— А как же Юрген и Клос? — рядовой был против того, чтобы свою судьбу доверить русскому, благодаря которому их отряд лишился трех человек.

— Они сами виноваты, — фельдфебель посмотрел на булькающего монаха. — Давай вытаскивать будем... Расстрелять всегда успеем.

Последняя фраза действовала лучше, чем вся предыдущая тирада.

— Гут, — Отто отстегнул веревочный карабин.

Горный стрелок не был бы горным, если бы по штату, кроме горных ботинок, ему не полагалось таскать с собой двадцать метров добротной веревки. Был еще альпеншток, но, так как гор в этом районе не было, ледорубы за ненадобностью оставили в части.

Пока Отто делал лассо, Алешка решил утопиться. Словно лещ на удочке, задергался, затрепыхался, стараясь погрузиться в неприветливую жижу. Глотать торфяную кашу было противно, хотел задохнуться. Там, на глубине.

Все-таки он невезучий.

И утопиться не смог. Только тину вспучил, не погрузившись ни на сантиметр. Словно кто подставил скамейку под ноги, а ведь еще минуту назад красноармеец чувствовал, что там бездна — метров десять, а то и больше.

Отто прицелился и в аккурат уложил лассо вокруг головы монаха. Шею не обхватил — трясина не дала. Фриц потянул веревку, стягивая удавку. Аркан сжал Алешкины зубы, уши, затылок. Стропа натянулась, и Алексей услышал, как у него затрещали шейные позвонки. Отто с Литке залезли на насыпь и уже оттуда потянули веревку, вытягивая незадачливого пловца из трясины.

Трясина чавкнула, сказала: «Свидимся еще», — и отпустила свою добычу.

— Да что же это такое! Да что же за жизнь такая! И умереть не могу по-человечески, — Алешка жалостно скулил, уткнувшись лицом в насыпь.

— Встать. Ком, — Литке толкнул незадачливого «монаха».

Алексей поднялся, качаясь от усталости. Тело не слушалось, налившись свинцом, как и утром, когда он забрался на эту же насыпь.

— Шнель, — ожидая, пока русский придет в себя и сможет передвигаться, Литке вспомнил про приз, обещанный Фридрихом, и повернулся к Отто. — Хочу обрадовать тебя.

— Чем?

— Мы заработали бутылку коньяка.

— Хорошая новость, но с условием... выпьем, когда вернемся в часть.

— Договорились, — сообразив, что русский может стоять тут вечно, Литке дернул за веревку, увлекая красноармейца за собой.

Так и пошли.

Впереди Литке, за ним Алешка и следом Отто.

Уже подходя к домам, услышали грохот разорвавшейся вдалеке гранаты. Следом раздался короткий лай автомата, и, словно в ответ, зачихали винтовочные выстрелы. Треск понесся по деревне, вызвав переполох и напряжение нервов.

Солдаты высыпали на улицу, ожидая приказа.

Казалось, прошла вечность, прежде чем на крыльцо вышел Фридрих. Он был собран, зашнурован, упакован и готов к битве. Короткие команды и пафосная речь вернули егерям уверенность в их силе и непобедимости.

Обер-лейтенант разбил отряд на две неравные группы. Семь человек шли навстречу партизанам. В ночном лесу преимущество всегда за теми, кого больше. Задачу отразить атаку Фридрих не ставил, главное — увлечь партизан за собой, заманить на открытое место и уничтожить перекрестным пулеметно-минометным огнем. Поэтому шли налегке, оставив тяжелое вооружение фельдфебелю. Егеря под командованием Литке должны были подготовить опорные огневые точки. Выбор пал на дом священника и церковь. Предстояло заколотить окна, собрать провизию и боекомплект, расставить пулеметы и при появлении противника поджечь для освещения близстоящие дома.

— Коньяк на столе, — занятый перегруппировкой Фридрих наконец-то, глянув на монаха, вспомнил про обещанный приз. Алешка как был на веревке, так и стоял рядом с Литке. Офицер ткнул пальцем в уцелевший, несмотря на все перипетии, крест на груди Алексея и коротко бросил: — Расстрелять.

— Гер офицер, — Литке понял, что другого момента не будет. — Он наш талисман. Расстреляем — все погибнем.

— Он везучий, — Отто поддакнул, уверовав в правоту фельдфебеля.

Алешке показалось, что фрицы за него хлопочут, и он закивал головой.

— Я, я, — залопотал монах, — я тропу знаю, — и махнул рукой за церковь, — там выйдем. Всех выведу, — сказал лишь бы сказать, зная, что невезучий. Просто почему-то хотелось дожить до утра.

Фридрих на секунду замер от такого откровения. Только сейчас обер-лейтенант понял, что в словах Литке что-то есть. Судьба невидимой нитью связала их всех. Разумеется, кроме Шульца, оставшегося лежать в безмянном русском овраге.

— Под замок, — Фридрих махнул рукой, увлекая группу за собой.

— Гер офицер, — закричал Алешка, — мне бы пожрать и посушиться, мокрый весь, — он стащил с головы скуфейку и выжал, показывая, какой он мокрый.

Фридрих замешкался от такой наглости, но все же распорядился, чтобы покормили их новый талисман.

\* \* \*

Две гранаты и автоматная очередь застали партизан врасплох.

Отряд почти вышел к складам, когда прилетел подарок от фрицев, глуша бойцов, как рыбу. Сорокин заметил две ушедших под воду головы. Плюхнулись и исчезли — то ли контуженые, то ли убитые. Смотреть было некогда.

— Огонь, — крикнул майор, стреляя из револьвера в темноту, и устремился вперед, подобно кораблю.

— Урааа! — понеслось по лесу. Бойцы, ободренные примером командира, дали залп и побрели, рассекая воду. Защелкали выстрелы, огоньками расцвечивая темный лес.

Треск автомата сбил пыл атаки.

Партизаны растеклись по затопленному лесу, прячась за чахлыми деревьями. От складов полосула еще одна очередь, срезая ветви. В ответ пальнули залпом из винтовок. Так и перестреливались с минутными окнами тишины.

Немец пользовался своей преимуществом: ноги бегают по земле быстрее, чем в воде. Фриц перемещался вдоль болотной кромки, стреляя неприцельными очередями из-за укрытий, будь то дерево или коряга. Пальнет не глядя — и перебежит на новое место. Пальнет оттуда — и вновь перебежит или вернется туда, где сидел пару минут назад.

Сорокин догадался, что это тот самый дозорный, которого прошляпил Шевцов, и теперь им всем аukaется.

— Шевцова ко мне! — крикнул Василий Гаврилович близстоящему бойцу. Пока

тот искал командира разведки и майор сообразил: раз фриц геройствует, значит, ждет подмогу из деревни. Значит, уверен, что придут. Вопрос с засадой, в которую они влипли, надо было решать срочно, или их тут всех положат.

Разгребая плавающие сучья, подошел Шевцов — мокрый, расстроенный.

— Твой?

— Мой.

— Вот и сними его. Это приказ.

— Слушаюсь, — командир разведки рад был исправить свою оплошность. Лихо козырнул и тут же, у дерева, пройдя пару шагов, лег в воду и поплыл.

— Автомат забыл, — хотел крикнуть Сорокин и сжал зубы, махнув рукой. Шевцов плыл брассом, правой рукой сжимая нож.

## ГЛАВА 10

Напротив мастерских Шевцов стащил и бросил фуфайку.

Ватник, словно насос, вбирал воду. «Тысяча таких ватников — и можно осушить болото», — подумал Петр Сергеевич, всматриваясь в темные береговые заросли. Молодые каналы зарастали долго: уходили годы, прежде чем на поверхности образуется тонкий сплошной растительный слой.

Этот канал и вывел его на немца.

«Вот ты где, гаденыш! С первого раза не взял — возьму со второго», — Шевцов замер, осматривая берег. Вязкий, пропитанный дождями скользкий склон из пластов срезанного торфа говорил, что придется попытеть, прежде чем командир разведки удастся выбраться на берег. И вряд ли получится сделать это бесшумно.

Немец расположился у самой воды.

Сидел боком, одновременно контролируя канал и разглядывая подлесок возле складов. Тихий, настороженный, словно кто-то спугнул ганса — и тот затаился, выжидая. Командир разведки хорошо видел пятнистую куртку, кепи, брюки, заправленные в гетры, и горные ботинки. Сто пудов в деревне были егеря. «Зря они сапоги не носят, сыро тут у нас», — Шевцов развел руками стебли и заплыл в камыши, прижимаясь к самому берегу.

«Ну что телишься? Повернись, посмотри, привстань, отвлекись...» — разведчику нужна была форя, чтобы зацепиться за корни дерева, сползающие в воду, подтянуться и прыгнуть, хватая немца за ноги.

Кажется, Шевцов заболел.

Заплыв в октябре не прошел даром. Петр Сергеевич пощупал голову: лоб был горячим. В горле саднило, а по телу расползался предательский озноб. Не хватало еще чихнуть... и партизан пожалел, что подумал об этом: из носа потекло и, чтобы не сморкаться, разведчик сжал ноздри пальцами, выдавливая мокроту. В той стороне, где была деревня, прошел шелест по подлеску: кто-то бежал, не соблюдая осторожность.

Прямо на немца выскочил Мишка Глуходед, один из подчиненных Шевцова. Боец бежал к каналам — предупредить своих, что у немцев два пулемета и миномет.

Дозор, посланный Шевцовым в деревню, наткнулся на фрицев и поплатился.

Напарник Глуходеда, проткнутый ножом, остался лежать в мокрой траве у крайнего дома. Мишке повезло больше: он уже родился щуплым и юрким, как угорь. Здоровяк хотел взять его живьем, но партизан не дался: сунул фрицу коленом промеж ног, вырвался и побежал. Егеря полоснули из автоматов, но пень, подвернувшийся под ногу, спас ему жизнь.

Ненадолго... Но погиб Мишка не зазря, дал своему командиру форю.

Тот видел, как ганс привстал и полоснул горизонтально земле. Мишкина жизнь

оборвалась вместе с жизнью фрица: Шевцов поймал его за ноги и, дернув, потащил на глубину. И там, не давая опомниться, топил и топил немца, пока тот не обмяк.

Петр Сергеевич нащупал утонувший шмайсер, вылез на берег, с трудом выдерживая ноги из раскисшей почвы, и побрел туда, где лежал Мишка, спасший своей смертью целый отряд. Винтовки у бойца не было: потерял, наверное. Шевцов присел на миг возле бойца, прикрыл ему веки и побежал к мастерской, желая только одного: опередить группу, идущую на выручку плавающему в болоте фрицу.

Группа Фридриха напоролась на огонь своего же родного немецкого автомата. Шмайсер молотил короткими очередями. Шевцов берег патроны, надеясь, что Сорокин правильно понял смену направления огня.

Сорокин понял. Скомандовал: «В атаку!» — и первым прыгнул в темную, ледяную октябрьскую воду.

\* \* \*

Скоротечный бой забрал трех егерей и пятерых партизан.

Противники обменялись гранатами и залегли, вяло постреливая. Самой большой ошибкой Фридриха было то, что он во время боя приказал оставить позиции. Заманить, увлечь за собой партизан не получилось. Русские не увлеклись: заняли мастерские — и ни с места. Знали, что выхода из деревни нет, вот и закупили бутылку. Партизаны поставили на чердаке ручной пулемет и стали методично выкашивать подлесок.

И еще обер-лейтенант не рассчитал силы: семеро против сотни — столько, по его прикидкам, пришло русских. Они были везде: за каждым пнем, в каждой низине. Словно саранча, напавшая на долину, где росли семь благородных эдельвейсов.

«Надо было им всем идти на прорыв», — Фридрих еще раз глянул на темную гладь неведомого болота. Если русские пришли, то и егеря бы проскочили. Всего-то нужно было поднести миномет, закидать русских минами и, пока те жмутся к земле, двумя пулеметами пробить брешь и уйти... Но шанс был упущен. Слишком поздно обер-лейтенант это понял. Собрал оружие, развесил на плечах, как на вешалке, и пошел, не пригибаясь.

Фридрих замыкал группу, неся четыре автомата. Шел и проклинал картографов. На карте тут нет троп, сплошные болота, и жилья нет — а по факту есть.

За сутки он потерял семерых.

Один остался в овраге, двое — в погребе, трое — в лесу, наскоро закиданные ветками. Пропал еще Эрих. Скорее всего, плавает в канале с перерезанным горлом. Они это умеют. И еще Карл... Фридрих глянул на тяжелораненого пулеметчика и отвел глаза: не жилец... Карлу вкололи морфий, отправив в забвенье. Живот был распорот осколками от разорвавшейся гранаты. Грасса не несли — тащили на волокуше, сделанной из срубленных сосенок, курток и веревок.

Из головы у офицера не выходило, как он просчитался.

В темноте можно было перескочить мимо русских и партизанской тропой уйти через торфяник. Но бросить егерей, оставшихся в деревне, он не мог. Для него было делом чести умереть со своими подчиненными. Обер-лейтенант смотрел на темные, мокрые сосны, и думал, что ловушка захлопнулась. Русских он уже не выманит. Будут сидеть и ждать крови, как клопы.

Перспектив не было, и будущее рисовалось в самых мрачных тонах. Плен — в то время как армия рейха стоит у стен Москвы? Глупее не придумаешь. Застрелиться, что ли? Идея была спасительной. Пуля решила бы все, сняв с него ответственность за сегодняшний день.

Фридрих остановился, шагнул за дерево и замер, вслушиваясь в шумящий лес. Погоны не было. Их не преследовали, и мрачные думки нашли свое подтверждение: это действительно ловушка.

Опять заморосило.

Чертова Россия, чертовы болота, чертов русский! И угораздило же их наткнуться на него! Фридрих вспомнил про монаха — и душу согрело ощущение превосходства. Он мог его убить, покалечить или отпустить. Монах был в его власти. Да и какой он монах? Так, ряженный клоун. Переодетый дезертир, от которого теперь зависела судьба самого Фридриха и его людей.

\* \* \*

Сорокин приказал положить погибших бойцов рядом с мастерской — на еловые лапы, настеленные поверх мокрой травы. Среди тех, кто спал вечным сном в мягкой, пахнущей хвоей постели, был политрук — молодой, красивый, в перетянтом ремнями ватнике и с красной дырочкой под сердцем — словно кто для ордена проколол. Пятеро бойцов лежали как на параде. Только одежда, вымазанная торфом и кровью, была не парадной. Еще двоих забрал канал: искать трупы ночью не стали, отложив до утра. И Шевцов потерял двоих. Итого выходила на круг половина отряда: девять убитых и пятеро раненых. Одно утешало: ранения были в основном легкие — мягкие места, руки, ноги, касательные в голову. Но в любом случае это были уже не вояки. Отбиваться еще могли, а вот в атаку пойти — вряд ли.

Оставшиеся в живых заняли мастерские, развели там костер, завесили мокрую одежду. Сюда же принесли и привели раненых. Здесь же организовали импровизированный походный стол и госпиталь.

С пятнадцатью бойцами, из которых пятеро раненых, Сорокин мог удерживать только мастерские, не пуская фрицев на дорогу. Соватьсь в деревню было рискованно. Расставив секреты за деревьями, командир приказал: «Не спать». Вернулся к мастерским и сел на понтон от торфодобывающей драги.

Со стороны деревни крикнул филин. Засуетились бойцы, зашуршали секреты, пробежал легкий говорок — и вновь все стихло.

Чавка по раскисшей земле, подошел Шевцов — усталый и серьезный.

— В церкви они, — командир разведки сел рядом с Сорокиным.

— Сколько?

— Насчитал шестерых без офицера и раненый — тяжелый. У них два пулемета МГ-34 и переносной пятидесятимиллиметровый миномет, стоит за церковью.

— Миномет? — Сорокин аж вскинулся.

— Самый настоящий.

— Чего тогда нас не нахлобучили?

— Я так думаю, заманить хотели. Не знали, сколько нас... Вот и оставили его там, где от него проку было бы больше.

— В деревне.

— В ней самой, — Шевцов достал спирт. — А Ванька твой молодец, — комразведки отвинтил крышку и протянул Сорокину. — Помянем товарищей.

Иван и вправду герой. Как он там, жив или нет — этого Василий Гаврилович не знал.

— Пока не узнаю, что Ваня погиб, пить буду только за здоровье, — Сорокин отхлебнул, поморщился и еще раз хлебнул, говоря: — За победу, за здоровье живых и за товарищей наших павших.

— Смерть фашистам! — Шевцов с силой выдохнул, завинтил крышку, помянул Митрохина, высунувшегося до ветру, и сунул ему в руки фляжку. — Всем по глотку, и на чердак Попову снеси.

— Спасибо, товарищ капитан, — старшина радостно ощерился и исчез в темноте.

— Если пойдут ночью на прорыв — не удержимся. Разнесут из миномета этот курятник в щепки и нас вместе с ним, — Шевцов смотрел в ту сторону, где была деревня.

— Не сунутся, — Сорокин так не думал, но сказал совсем другое. Боялся показать волнение.

— Сомневаюсь я что-то... Это не пехота. Там матерые, и им кровь из носу нужно выпрыгнуть из ловушки. Волк ногу себе отгрызет, а уйдет из капкана. Так и они... всю ночь будут грызть, а утром попрут.

— В деревню я не пойду: весь отряд положим.

— А тебя никто не заставляет. Я о другом сейчас: подмога нам нужна.

— Откуда ей взяться?

— До утра немцы не сунутся. Кишка тонка. Сколько там натикало?

Сорокин выпростал руку, показывая светящийся циферблат.

— Девять... Если сейчас выйти, в полторого буду на станции. Подниму всех — и на двух грузовиках сюда. К пяти, глядишь, и управлюсь.

Сорокин думал недолго.

Будет славно, если немцы до утра отложат прорыв. Если фрицы попрут, партизаны вряд ли их остановят. А вот задержать могут. Чтобы Шевцов успел с подкреплением вернуться. Пусть не здесь, не возле мастерских, пусть там, за каналами, но диверсантов все равно возьмут. Знал Сорокин, что из Мхов другой дороги нет, как знал и то, что егеря ждать не будут. Здесь пойдут, и здесь же их и надо удержать.

— Автомат оставь, — майор вытащил из кобуры наган и отдал Шевцову. Затем снял с руки часы. — Будешь знать, сколько нам еще жить, — не то с укоризной, не то с надеждой сказал Сорокин. Сунул руку, прощаясь. — Давай, Петр, действуй и не подведи.

— Да как можно, Василий Гаврилович! — разведчик схватился за протянутую ему руку и прижал к себе командира...

\* \* \*

Фридрих переступил через порог церкви.

Свалил автоматы на пол. Подошел к монаху и без размаху, коротко, ударил его в челюсть. Зубы клацнули. Классический апперкот бросил Алексея на пол. Оберлейтенант ударил русского ногой в живот, заставляя скорчиться от боли. Ударил еще, и еще раз. Бил от бессилия, мстя за погибших товарищей, за смерть своих подчиненных; бил за самый неудачный день, за неполученный железный крест; бил за то, что тот русский, и за то, что вообще встретился у них на пути.

Бил, вымещая злобу.

Но так, чтобы не сломать ребра, чтобы пленник мог ходить, но не мог бегать. Русский был ему нужен. И от этого Фридрих распался еще больше. Пришлось вмешаться Литке, который боялся за монаха. Унтер-офицер налил в стакан призового коньяка и протянул командиру.

— Оставь его, Фридрих. Давай лучше выпьем... За удачу, чтобы дошли.

Это было лучше, что мог придумать фельдфебель в данной ситуации. Оберлейтенант схватился за стакан, как утопающий за соломинку. Рука тряслась. Офицер стукнул зубами о стеклянный край, запрокинул голову и, булькая, вылил в себя все содержимое. Эффект был достигнут. Егеря подхватили потухшего командира под руки и усадили на пол. На него же Фридрих и свалился, после того как его мозг опьянел. Для измотанного войной человека доза была лошадиной, и стакана коньяка вполне хватило, чтобы провалился в пьяный обморок.



— Вставай, — Литке пнул монаха.

Алексей поднялся, вытирая окровавленный рот.

— Ты молитвы знаешь?

— Да, — соврал красноармеец.

— Тогда молись... На рассвете выходим. И если твои молитвы Бог не услышит, то я обещаю, что он услышит твой предсмертный крик, — и для ясности фельдфебель ткнул монаха стволом в печень.

Фрицы разошлись, оставляя русского стоять, согнувшись, посреди церкви.

— И твой тоже, — почти беззвучно проговорил Алексей, руками подперев правое подреберье.

В притворе немцы собирали нехитрые пожитки, перетряхивая ранцы. Идти решили налегке. Вот и потрошили фрицы ношу, беря самое необходимое. Алексей поглядел на лавку, под которой должно было лежать ружье. Все так же касаясь пола, свисала скатерть. Теперь на ней лежал фриц с распоротым брюхом, из которого сквозь ватные тампоны и бинты сочилась алая кровь.

Алексей запомнил его: здоровяк с пулеметом, когда уходил, подмигнул пленнику. «Чтоб тебе глаз выбили!» — подумал тогда Алешка и ошибся. Оба глаза были целы, а вот животу не повезло: раздербанило так, что смотреть было жутко.

— Гер офицер, — Алешка позвал фельдфебеля, чем весьма угодил Литке. — Я буду молиться там, — красноармеец показал на алтарь, не зная, как это место называется. — Пусть меня не беспокоят. Я буду просить Бога, чтобы Он даровал мне силы и Свою помощь. Это нужно, когда идешь по болоту.

— Гут, — Литке отвернулся и пошел к пулеметчику. Здоровяк пришел в себя, и стон стал невыносимый. После того как Фридрих уснул, унтер-офицер остался за старшего. — Зигфрид, Вольф, — крикнул он, — оттащите Карла в дом. Пусть умрет на мягкой кровати. Нам нужна тишина. Клайн, на колокольню! Остальным спать, — и хотя Клайна тоже звали Карл, имя не прижилось, и все называли его Клайн (Малыш).

Алексей сходил к двери. Забрал с пола коврик для ног и пошел с ним в алтарь. Не доходя до амвона, этакое выступил перед солеей, красноармеец остановился. Странное чувство распирало солдата. Ему почему-то было стыдно зайти в алтарь в грязной обуви. Ботинки остались в трясине, и Литке разрешил ему снять сапоги со священника. Алешка сел на ступеньку и ковриком стал вытирать сапоги. Когда обувь была достаточно чиста, чтобы можно было войти в Святая Святых, он встал и шагнул на ступеньку.

О том, что он не имел права входить в алтарь без благословения священника, Смирнов не знал. Остановился перед распахнутыми воротами, где уже похозяйничали немцы, невольно занес руку и перекрестился. Затем подошел к северной двери с нарисованным на ней ангелом, стоящим с копьём и щитом, и припал к образу, целуя крылья.

Ему нужны были помощники и заступники, и Алексей пошел вдоль иконостаса, целуя образа. Еще недавно чуждые и малознакомые, теперь лики святых приобрили для него особое значение.

— Помолитесь за меня, люди добрые... Слабый я и немощный, даже утопиться не смог...

После того как под ногами заперли бездну, красноармеец вспомнил архиерея и решил, что со святыми лучше не шутить. Алешка подошел к иконе святого, очень похожего на старца из его видений. Постоял, помолчал и сказал всего одну фразу — наболевшую, выстраданную, вымученную долгой дорогой к храму:

— Спасибо тебе, отец, — и добавил, читая по слогам тяжелую церковнославянскую вязь: — Святой Николае Чудотворец.

В алтаре Алексей начал с того, что поднял сброшенные немцами на пол книги,

чаши, потир, подсвечники. Поправил скатерть, накрывающую стол. Ничего не знал солдат, называя алтарь столом; чаши — тарелками, потиры — стаканами, а Святое Евангелие — книгой в кожаном переплете. Книг было немного: Евангелие, развалившееся после удара об пол, несколько молитвословов и «Жития святых». Красноармеец расставил, разложил на свое усмотрение. Из притвора принес иконку Николая Чудотворца, положил на алтарь. От горящей лампы зажег свечу и поставил возле иконы.

— Так будет лучше.

С чего начать, солдат не имел никакого представления.

Вроде как в детстве: сбросили с лодки и сказали: «Плыви». Там хоть берег был виден, а здесь сплошная неясность. Из молитв только и знал «Господи, помилуй», «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа», да еще «Аллилуйя» и «Аминь». Вот и решил Алешка Смирнов прочитывать все книги — в надежде, что Господь поможет ему выбраться из ситуации, о которой если думать, начинают трястись колени.

Алексей аккуратно взял книгу в кожаном переплете, раскрыл, осторожно перекладывая рассыпавшиеся листы. Загадал, как в школе: «Что прочитаю — так тому и быть». И произнес: «...имейте веру Божию. Аминь бо глаголю вам...» — дальше он не продвинулся: буквы были незнакомые, витиеватые и местами затерты. Провел пальцем до конца предложения, уперся в строчку: «...будет ему, еже аще речет<sup>34</sup>», — и задумался.

Мало что понял из прочитанного красноармеец Смирнов, но интуитивно догадался: что ни попросишь с верою — будет тебе.

Он помолчал, собираясь с силой, и выдохнул:

— Господи, доведи до середины болота и утопи — и меня, и фрицев. Аминь!

Сказал от чистого сердца, не выпрашивая себе милости, желая рассчитаться за семью священника, за те мосты и дороги, что подорвали егеря, за убитых и покалеченных, за русские села и города.

И словно услышал его Господь: вздернулось пламя, и зашипела свеча, успокаивая: все будет хорошо. И так от этого Алешке стало радостно, что расплылась его битая-перебитая физиономия в улыбке, да такой, что он и сам не ожидал. Под сердцем затеплилось, запылало чувство любви к Федору, Дарье, Ванюшке, детям малым и к отцу их Алексию. И весь организм наполнился некой неведомой красноармейцу силой, давшей уверенность в завтрашнем дне.

## ГЛАВА 11

Шевцов промахнулся километров на девять.

Промашку вычислил по километровому столбику. Посветил спичкой, постоял, прислушиваясь к ночным шорохам, оттолкнулся от указателя и полез на железнодорожную насыпь. Рельсы разбегались в двух направлениях: на запад и на восток. Комразведки осмотрелся, сообразил, в какой стороне станция, и побрел, устало переставляя ноги. Свой ПППШ он оставил Сорокину, забрав у командира наган. Автомат там нужней, да и с пистолетом бежать как-то легче. Почти все силы ушли на болото, на бег по ночному лесу, на столкновения с деревьями и падения в буреломные ямы. И теперь он умолял небо послать ему навстречу патруль — и желательно механизированный, на железнодорожной дрезине.

Просил плохо или не те слова говорил, но небо, затянутое тучами, не отвечало

---

<sup>34</sup> Мк. 11:23–24 (Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и свергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, — будет ему, что ни скажет. Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам).

Шевцову. Сколько ни напрягал разведчик слух, перестука колес не слышал. Только ветер качал сосны, навистывая заунывную мелодию.

Одно утешало: дождь затих.

Петр Сергеевич хотел выстрелить в воздух и привлечь внимание патруля, но чутье подсказало: лучше этого не делать. Можно схлопотать пулю от своих же или накликать беду в виде диверсионной группы. Никто не знает, сколько их орудует в русском тылу.

По шпалам ход был неровным, и Шевцов сошел с полотна. Спотыкаясь о россыпи камней, он то брел, то бежал, тяжело дыша, то стоял, до рези в глазах вглядываясь в даль в надежде увидеть горящий семафор, за которым будут люди и будет транспорт. Параллельно железке пошла автомобильная дорога, до безобразия разбитая танками и тягачами. Шевцов сунулся было в колею, но вовремя одумался. Грязь буквально вязала ноги. Капитан выбрался на обочину и пошел, шурша мокрой травой.

Вспомнил Ваню Голикова, как тот ходил по лагерю. Ходил и крестил: то землянку перекрестит, то партизан, сидящих под навесом, то кухню походную. И все время приговаривал: «Господи, помоги им!». Комразведки улыбнулся детской наивности и закричал:

— Помоги мне, Господи!

И прыгнул в сторону, уходя от слепящего света фар.

По дороге с надрывным воем плыла полторка. Куда ехал и что вез грузовик, Шевцов не интересовало. Он видел машину, знал, зачем она нужна, и этого было достаточно, чтобы временно конфисковать автомобиль.

— Стой! Стой! — закричал разведчик и кинулся в колею, под колеса, размахивая руками и револьвером.

Водитель был опытный: не стал останавливаться в грязи, зная, что потом не тронется. Вырулил на обочину, остановил скособочившийся грузовик.

— Ты, что одурел?! Прешь под колеса! Закатал бы тебя в грязь и не заметил! — заорал водитель — и осекся, увидев очумевшего грязного человека с револьвером.

— Прости, брат. Я в кабину, — Шевцов обежал машину и протянул руку к пассажирской двери.

— А ну стой, где стоишь! — из кабины донесся простуженный женский голос. — Документы сперва покажи. А то ишь, в кабину захотел. Как бы я тебя в кузов не отправила!

Из окна высунулся ствол трехлинейки и уперся Шевцову в грудь.

— Тамара! — комразведки по голосу узнал начальника железнодорожной милиции.

— Ну Тамара, дальше что? — по суровости в голосе было понятно, что сорокалетняя женщина, замотанная войной и грузом ответственности, не жаждала общения с незнакомцем. Особенно в три часа ночи. Она хотела спать, и только неотложное дело заставило ее выехать среди ночи на Зареченский полустанок.

— Шевцов я, — сказал разведчик и дернул ручку, зная, что Тамара Васильевна не выстрелит. Слишком тесно их свела судьба в последний год перед войной.

— Петр Сергеевич, откуда? — крепкая невысокая женщина с локонами уже седых волос, выбившимися из-под желтого берета с алой звездочкой, поставила винтовку между ног. Юбка задралась, оголив голые колени. Взгляд у Тамары был усталым, а лицо чуть припухшим от бессонных ночей. Женщина подвинулась, прижимаясь к водителю, чтобы освободить дополнительное место.

Шевцов залез в кабину, махнул рукой, пряча револьвер, и повернулся к женщине в темно-синей милицеевской гимнастерке с кубиками младшего лейтенанта на петлицах.

— Давай разворачивай, по дороге расскажу.

— Не могу, мне в Заречье надо. Убийство у меня там — обходчика застрелили.  
— Ты про мост железнодорожный знаешь — тот, что рванули фрицы?  
— Ну а кто не знает...  
— А про генерала убитого?  
— Петр Сергеевич, не тяни.  
— Сорокин их блокировал на болотах. Без подмоги не возьмет. Немец слишком крут.

— Немец он и есть немец, — шофер не трогался, ожидая команды, куда ехать — вперед или разворачиваться.

Начальник милиции медлила, не зная, как поступить.

— Вы указания из области получили? — спросил Шевцов и засомневался: вдруг в областном НКВД забыли про них? Десятки, если не сотни подобных радиogramм приходили в центр ежедневно, и вполне возможно, что их послание все еще лежит в стопке бумаг и ждет своего часа.

— Получили. С предписанием оказать помощь вашему отряду, — Тамара Васильевна поняла, что по горячим следам взять убийц не получится. И придет она в Заречье не раньше, чем в обед, а то и позже. Машину, скорее всего, заберут, и придется ждать маневровый: на военные эшелоны милицию не сажали. Милиционерша с горечью махнула рукой и кивнула водителю: — Ну что стоишь? Разворачивай!

Шофер газанул, выкручивая руль до упора. Мотор взвыл, и машина затряслась на кочках, переваливаясь из колеи в колею. Свет фар очертил полукруг, сменил направление и запрыгал на встречных соснах.

\* \* \*

Под глазами у Алешки были круги от бессонной ночи.

Что успел, то и прочитал красноармеец за ночь, а прочитал он почти все, что нашел в алтаре. Богослужебные книги протоиерей Алексей Голиков хранил дома, в алтаре же держал октябрьские Минеи, Октоих, молитвослов и Жития Святых Димитрия Ростовского. На престоле лежало Евангелие на церковнославянском, которое Алексей не смог осилить, не зная обозначений старинных букв.

«Святое Евангелие», — с трудом прочитал солдат, вглядываясь в вытертое название. Полистал, отложил в сторону и взялся за молитвослов. Молить было много. Часа в два ночи перешел к житиям святых...

Отвлек его от чтения офицер.

Зашел в алтарь, покачался на носках, разглядывая сутулую спину монаха, стоящего на коленях, и бросил:

— Через полчаса выходим. Собирайся, — Фридрих скрипнул половицами и вышел.

Мало что осталось в голове, мало что запомнил Алексей. Все перемешалось, превратившись в мысленную кашу. Одно он вынес: с верой люди жили, верой спасались, за веру умирали, и было им по вере их...

Алешка встал, разминая затекшую спину.

За пять часов непрерывного стояния колени утрамбовались, и пришлось несколько раз присесть, чтобы к онемевшим суставам притекла кровь. Красноармеец походил вокруг алтаря, распевая: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», — и потянул носом, чувствуя дым.

В церкви стоял чад.

Всю ночь фрицы жгли внутри храма костер. Выломали капот в одном из грузовиков, похороненных в грязи, бросили железяку в притворе, навалили сырых дров, облили бензином, что остался неслитым в тех же грузовиках, и зажгли. От стены к стене протянули веревки, развешали на них свои тряпки и легли спать. К

утру храм пропах дымом, стены потемнели от копоти. Костер прогорел, оставив мерцающие угли. Сизый полумрак клубился под потолком, раздвоя глаза. Пришлось открыть дверь, впуская пахнувший утренним туманом воздух.

Немцы суетились, бегали, гремели ведрами с водой. На угли поставили чайник. Запахло кофе и горячим шоколадом. И еще спиртом. Не хотели егеря лезть в болото трезвыми, боялись. Вот и выпили все, что у них было: спирт, коньяк и бутылку водки, найденную в портфеле русского генерала.

Все с нетерпением поглядывали на монаха, который, повернувшись к Царским вратам, неистово крестился.

Фридрих решил поторопить русского, но тот осек его. Властно поднял руку, указывая перстом на икону, венчающую иконостас.

— Еще не время, — сказал монах и зашел в алтарь, прикрыв за собой двери. Выходить было страшно, а шагнуть в болото — еще страшней. Алексей решил заручиться помощью того, кто привел его сюда. Взял с престола икону Николая Чудотворца, привязал к ней шнурок и повесил на грудь, отчего стал похож на калiku пережоженного, что ходят от монастыря к монастырю, собирая подаяние.

Тянуть дальше не было смысла, и Алешка решился. Размашисто осенил себя крестом, чувствуя прилив сил, и вышел через северную дверь на солею. Оглядел егерей и на правах властелина их душ сказал:

— Комм цу мир<sup>35</sup>, — больше по-немецки боец Красной армии не знал ни слова. Подождал, когда егеря подойдут поближе, и, не задумываясь, перешел на русский. — Говорю тебе, Боже, возьми, что мне не по руке, а что по руке — пришей скорей к моей коже, — как ему казалось, сказал он глупо, лишь бы сказать, сам не понимая сказанного. И егеря, и педант офицер не поняли, что хотел поведать им русский. Проглотили скороговорку, кивая головами.

Алексей спустился с солеи и пошел к распахнутой двери.

— Шнель, шнель, — понеслось по церкви. Егеря забегали, засуетились и, подхватив ранцы, высыпали во двор. И пулемет, и миномет уносили с собой, оставляя русским только мертвых. Хоронить было некогда, и трупы так и остались лежать там, где их положили.

Алешка стоял возле трясины, показывая пальцем на топь, и говорил Фридриху и стоявшему рядом с ним Литке:

— Здесь пойдём.

— Ты уверен? — фельдфебель с сомнением смотрел на бурое месиво. Он помнил, как вчера с Отто здесь, напротив крыльца, промерял глубину. Шест ушел на всю длину, не оставляя надежд на переправу. Об этом Литке докладывал Фридриху, и тот был в курсе, что болото непроходимо.

— Я хочу знать, что нас ждет там, — офицер ткнул пальцем в темное безжизненное пространство.

— Никто не знает, кроме Господа! — Алешка склонился и поцеловал икону, висящую у него на груди. — Может, жизнь, а может, и смерть.

— Если ты нас выведешь, я отпущу тебя.

— Я теперь Богу принадлежу, — красноармеец шагнул смело, зная, что через пару минут умрет. Никто не станет вытаскивать его из болота. Или застрелят, чтобы не орал, или дадут утонуть. Одно из двух.

Но Алексей ошибался.

Ноги, погрузившись по колено, ощутили дно. Солдат постоял, побродил, потопал, пытаясь пробить дырку в бездну. Результат был один и тот же: везде по колено. Красноармеец перекрестился и пошел. Зная, что фрицы провалятся и он получит автоматную очередь в спину.

<sup>35</sup> К о м м з у м и р (нем.) — «Подойдите ко мне».

Но он опять ошибся.

Немцы не провалились. Шли за ним гуськом, стараясь не отставать, наступая след в след.

— Господи, за что ты меня мучаешь?! — взмолился Алешка, понимая, что он выведет фрицев из болота живыми и невредимыми. — Но нет уж, сам утону и вас утоплю, — сказал солдат и свернул под углом в девяносто градусов в надежде, что тропа, на которую он случайно ступил, уйдет прямо, а он свалится в омут.

И опять ошибся боец Красной армии Смирнов.

Тропа вильнула вместе с ним. Словно кто-то мостил под его ногами гать, не давая провалиться в болото. Алексей шагнул в сторону, ища пустоту под ногами, но ее не было. Тело обдало холодом: а вдруг тут везде такая глубина? Куда ни пойдешь — все по колено.

То же самое подумал Фридрих.

Он остановился, призывая егерей к вниманию, и стал объяснять солдатам, что русский их дурачит: водит полчаса по болоту, когда можно по прямой дойти до противоположного берега. Офицер расстегнул кобуру и взялся за рукоятку вальтера.

— Много грязи, много жижи, хорошая могила для русской свиньи.

— А давай с тобой сыграем в болотную рулетку? — Алексей понял, что Господь испытывает его, подставляя опору под ноги.

Фридрих знал, что такое «русская рулетка», но про болотную слышал впервые.

— Объясни, в чем суть.

— Я стою на месте, а ты идешь. И если ты не утонешь — я покойник, а если утонешь — ты покойник. Вот и вся суть.

Офицер захлопнул клапан кобуры и завел руки за спину, размышляя. Думал он недолго. Солнце стало подниматься, освещая горизонт узкой розовой полосой. Обер-лейтенант глянул на темную деревню, вспомнил про партизан и показал на Адольфа, за спиной у которого висел четырнадцатикилограммовый миномет. Минометчик шел следом за Литке, третьим из шестерых.

— Ради Великой Германии сделай пару шагов влево и вправо. Если русский не блефует, мы вытащим тебя, а если он шарлатан, я застрелю его.

— Яволь, — Адольф козырнул, шагнул с тропы — и ушел с головой в трясину, даже не охнув.

Долгое молчание оставшихся в живых было лучшим подтверждением правоты фельдфебеля Литке: без русского им не выбраться.

### Разговор на болоте

— Ногу держи, — отец Алексей, красный от натуги, держал Алешку за ступню, не давая солдату утонуть. — Кому говорю, держи его, тонет ведь человек.

— Да держу я, держу, — Иван тащил солдата из болота, подхватив под колено.

— Так ведь без молитвы идет, — Федор пыхтел, пытаясь подлезть под Алешкину руку, взвалить себе на плечо немощее тело, подпереть. — Вот и не получается у нас.

— А ты напомни ему, по чьему произволению он все еще жив.

— Да как я ему напомню? Не видит он меня.

— Тресни чем-нибудь. Вон палка лежит.

— Гнилушка. Не успеешь замахнуться, в воздухе рассыплется.

— Подзатыльника дай. Пинка на крайний случай.

— Подумает, немец бьет. Возьмет и двинет в обратную. Будет нам тут цирк с конями.

— А я никогда в цирке не был, — не касаясь ступнями трясины, к ним подошел Степка. Малец ходил в деревню за своим солдатом. Слишком сильно Степан к нему прикипел. И даже после смерти мысли о бойце не оставляли его. Поболтал куклой, проветривая распоротое брюшко. Вата вылезла и клоками разлеталась по болоту, отчего игрушка все больше становилась похожей на мокрую грязную тряпку. Чтобы решить проблему и избавиться от материального груза, отец посоветовал похоронить солдата с почестями — как и положено бойцу, погибшему от руки вражеского диверсанта.

— Пап, там еще один фриц утоп, — Танюшка остановилась рядом с ними, держа в ладони полную пригоршню брусники. — Кто хочет? Почти созрела, — девочка протянула руки, показывая спелые ягоды.

— Тань, ты сходи со Степкой, куклу его закопайте, — отец кивнул в сторону шумящего за болотом бора. — Туда идите, там на пригорке и похороните солдата. Я спрашивал у ангелов, говорят: «С земными вещами в рай не пустят. Сказано: все земное оставляйте на земле».

— И рты вытрите, а то подумают ангелы, что вы фрицев съели, — крикнула Дарья — и дружный семейный смех прошелестел по болоту.

Разузнав, когда прибудет ангел-хранитель к красноармейцу, отец Алексей решил не дать утонуть Алешке до тех пор, пока ангел не возьмет его за руку. И вместо того, чтобы посещать любимые места, как положено после смерти, пыхтели Голиковы посреди болота, на давая солдату прежде времени расстаться с жизнью.

Дарья оттянула ветку чахлой осинки, волей судьбы закинутой на середину болота, подождала, пока монах подгребет поближе, и разжала пальцы.

Ветка хлестанула по щеке.

Алешка встрепенулся. Деревце трепыхалось в полуметре перед ним. Как говорят, прямо по курсу. Сама по себе ветка не могла его ударить. Он не цеплял ее, и ветра не было, и никто не пробегал мимо. Да и как тут пробежишь, если ноги еле выдергивались из жижи? «Вот я дурень, совсем из головы вылетело, — и Алексей зашептал: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!»

— Другое дело, — отец Алексей улыбнулся, слушая родные для него слова. И сразу как-то легче стало держать красноармейца. Заспорилось у них дело — и пошло, и солдат пошел, тверже ступая по болоту.

И Алешка понял, что Господь не оставляет его.

Дает под ноги опору, которую Алексей чуть не потерял. На фрицев красноармеец не оборачивался, зная, что тащатся за ним, словно хвост. Куда он вильнет — туда и они. Стараются идти след в след. Одно тревожило бойца Красной Армии: а вдруг выберется — и немцев за собой вытащит? Солдат запрокинул голову к темному небу, на котором только забрезжила заря, и закричал: «Не допусти, Господи!»

Отец Алексей распрямил спину и посмотрел на бесов, принимающих грязевые ванны.

— Вы, бесовское отродье, почему фрицев своих не топите? — отец Алексей зыркнул на вальяжно рассеявшихся по болоту бесов.

— Нашел своих, — огрызнулся старший и щелкнул хвостом по трясине, колебля болото.

— Такие же — фашисты.

— Обидные слова говоришь, отец Алексей, а еще в сани.

— И с крестом, — поддакнул второй бес — тот, что помоложе и посимпатичней. Хотя что же тут симпатичного? Рожа шерстью покрыта, рыло, рога, копыта — жуть да и только. — Нам можно только в искушение вводить, а трогать не велено.

— А как же в людей входите?

— Так они сами сами туда впускают, а бывает, что и зовут, умоляют: приходи, повеселимся, попьем вина допьяна, потешим блудом плоть и душу, крошечки человеческой напитаемся. А уж если богохульствовать зовут, так мы всегда тут как тут.

— И не жалко вам грешников? Все же твари Божьи.

— А нам, в отличие от вас, людей не жалко. А если за здоровье их печешься, сам и спасай своих фрицев.

— Они мне не свои.

— Вот! А нас обличаешь.

— Так они же убийцы... А всяк проливший кровь невинную — ваш клиент.

— Слова «свой» и «клиент» — не синонимы.

— До чего же вы племя казуистское! Все у вас с вывертом. На каждый крючок по две закорючки. И как вас только земля носит?

— А никак. Мы по ней не ходим, мы твари бесплотные. Это людям ноги нужны... чтобы мы потом их выдергивали, — бесы гоготнули, радуясь удачной шутке.

— А зачем тогда копыта отрасли?

— Для идентификации.

— Ох, Бог Ты мой! — батюшка вздохнул и перекрестился.

— Да твой Бог, твой, — съерничал бес.

— И твой! — сурово сказал отец Алексей и добавил: — Сказано в Книге Иова: «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана». Или забыл, как в стране Гадаринской такие, как ты, просили Господа моего Иисуса Христа, — священник еще раз перекрестился, — чтобы не повелел им идти в бездну, а позволил войти в стадо свиней? И Он позволил им. И бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло.

Бесы смутились: они не любили, когда им цитировали Священное Писание, зная, что на всякое Слово Божье нет у них аргументов, — и, потупив взор, со смирением пошли в конец колонны — поближе к своим подопечным.

## ГЛАВА 12

Фридриху порядком надоело блуждание по болоту.

Хотелось уже выйти, скинуть пропахшую тиной одежду и заварить горячего кофе. Ober-лейтенант сунул руку в карман, нащупал коробку Шо-Ка-Колы<sup>36</sup>, но доставать не стал. Наслаждаться вкусом шоколада, в то время как трое твоих подчиненных лежат на дне болота, посчитал верхом цинизма.

И еще очень хотелось курить...

Вот уже час, как они бродят по болоту. Складывалось ощущение, что монах специально кружит, ожидая, пока все они не утонут. Фридрих был бессилен что-либо изменить и за это ненавидел русского: его походку, в которой было столько отрешенности, что хватило бы на целую отступающую дивизию; его сутулую спину, гнущуюся в непрерывных поклонах; его голос, распеваящий молитвы; его смирение и покорность.

Вот он — представитель рабского сословия. Тихий и покорный.

Именно таким представлял Фридрих славянина, отправляясь покорять Россию. Офицер вспомнил высказывание фюрера: «Более сильный должен властвовать над более слабым», — и распрямил спину, чувствуя прилив гордости от того, что он истинный сын великой арийской расы.

Сильный спасается, слабый погибает, вот в чем убеждал себя Фридрих, наде-

<sup>36</sup> S c h o - K a - K o l a — марка немецкого шоколада, который содержит в себе кофеин от какао, жареного кофе и орех колы. Поставлялся в войска вермахта.



ясь, что он избран Богом и именно ему предстоит выжить в этом нелегком переходе. Ну, может быть, еще монаху, чья спина маячила в метре от обер-лейтенанта. Интересно, сможет ли он застрелить русского, когда выберутся?..

Размышления офицера прервал фонтан выброшенной грязи. Треснул торфяной покров под ногами, и монах ухнулся в болото по самую шею, подняв столб отвратительно пахнущих брызг.

И где провалился-то — рядом с берегом!

Только сейчас Фридрих увидел, как близка заветная цель. Всего в нескольких метрах впереди виднелась стена камыша, деревья, выступающие из тумана, и заросли цветущей амброзии, покрытой маленькими желтыми шариками.

Вот оно, счастье, протяни руку и возьми.

Фридрих был ошарашен такой несправедливостью.

Ведь дошли...

Офицер стоял возле болотного окна по колена в жиже, с содроганием глядя на барахтающегося возле его ног монаха. В спину тяжело дышал Литке, за которым маячил Зигфрид.

— Его надо вытащить, — прохрипел фельдфебель, споткнулся о невидимую корягу и чуть было не столкнул офицера в омут.

— Осторожней, — Фридрих отстегнул веревочный карабин. Литке был прав: утонет монах — утонут все. Обер-лейтенант свыкся с этой мыслью, хотя подспудно считал теорию неверной, убеждая себя, что монах жив благодаря исключительно его, Фридриха, персоне. Его избранности и его нежизнотности.

Нервы шекожала идея проверить догадку.

Он как благочестивый прихожанин во всем следовал тезисам Лютера и кое-что познал в вопросах религии. Например, он постиг Евангелие, а следовательно, уже не должен ничего делать для своего спасения. Он понимал, что уже спасен, спасен безо всяких усилий со своей стороны. А раз так, он должен довериться — и Бог не оставит его.

Фридрих медленно снял офицерский ранец, пытливо разглядывая берег. Кажется, он нашел то, что искал. Привязал к заплочным ремням веревку, размахнулся и кинул ношу, целя в двойное дерево — развилку близстоящей сосны. Ранец, словно мяч, брошенный рукой баскетболиста, пролетел над головой монаха, проскочил между стволами и, глухо стукнувшись, покатился по земле, разматывая прикрепленную к нему веревку.

Литке понял, что задумал командир. Закусив губу, фельдфебель стоял и смотрел, как Фридрих подтягивает веревку. Младший офицер видел, как ранец пополз по земле, раздвигая мокрую, наваленную под деревьями хвою. Как зацепился за рогатину и застрял. Как натянулась веревка. Слышал, как выдохнул офицер и как глухо, словно водяной, булькал монах, барахтаясь в болоте. Литке снял с плеч ношу и молча перекинул на берег. Туда же улетел автомат. Все то же, с той же периодичностью и скрупулезностью, проделал и Зигфрид. Оставалось прыгнуть в трясины и, держась за веревку, выбраться на берег.

— А русский? — спросил Литке, надеясь услышать слова сострадания.

— Можешь его пристрелить, чтобы не мучился.

— Ты обещал ему свободу.

— Он свободен, — офицер бросил конец веревки фельдфебелю. — Держи и не досаждай мне больше, — Фридрих взялся за веревку, натягивая стропу, и сиганул в трясины.

Дна не было...

Офицер это почувствовал сразу, изо всех сил вытягивая себя из глубины. Трясина не отпускала, перчатки скользили, рот и нос были залеплены молодым торфом, отчего дышать становилось все тяжелей и тяжелей.

Фельдфебель смотрел на булькающую жижу и считал, насколько хватит воздуха у командира. Веревка натянулась, показались заляпанные руки и голова. Офицер выплюнул жижу и потянул себя к берегу. Литке облегченно выдохнул и повернулся к Зигфриду.

— Я... Потом ты, с интервалом в полминуты, — унтер схватился за веревку, сжимая кулаки.

— Может, подождем, пока он выберется на берег?

— Подождать можно. Только я боюсь, он нас здесь оставит.

— Как это? — не понял Зигфрид.

— Одному оправдаться легче... Вытянет веревку или расстреляет нас.

Егерь понял, на что намекал фельдфебель. За потерю группы кто-то должен ответить. А виновник был один — их любимый Фридрих.

— Где твой автомат?

— Там, — Зигфрид кивнул, показывая на заросли амброзии.

— И мой там же, — сказал Литке и прыгнул, не раздумывая, в трясину.

\* \* \*

— Товарищ командир! Товарищ командир! — старшина тряс Сорокина за плечо. — Проснитесь!

— Аааа... — майор разодрал глаза. Казалось, задремал на секунду. Вскинул руку, желая узнать время. Часов не увидел. Вспомнил про Шевцова и спросил: — Который час?

— Третьи петухи пропели.

— Откуда здесь живность?

— Она у меня здесь, — Митрохин постучал себя по пилотке.

— Деревенский?

— Ага.

Командир наконец-то очухался. Поправил выбившийся из-под ремня ватник. Провел пальцами по листьям, собирая влагу, и протер лицо. Серое, чуть брезжащее утро утопало в хлопьях тумана. От болот парило. Дождя не было, и это радовало.

— Что у тебя?

— Немцы ушли.

— Как ушли?.. Куда? Прошляпили! — Сорокин вскочил, оглядывая дозоры. — Почему пропустили без боя?!

— Да никто их не пропускал, товарищ командир, — Митрохин почесал затылок. — Мы там фрицев убитых нашли.

— Где?

— Да вон, в лощине. Я дозоры проверял, слышу — стон. Взял бойцов и туда... А там фашист раненый. Их свои, когда уходили, ветками закидали. Тянет руку, пить просит. Я фляжку дал... — Митрохин посмотрел на командира: осудит или нет? Сорокин молчал, слушая старшину. — Попил, фляжку вернул и лопочет по-своему. Я по-немецки не шпрехаю, а Семен вроде немного балакает. И говорит: немец, мол, кается, что мальчишку застрелил. Считает, что наказал его Бог за это.

— Что-то еще сказал?

— Говорю же: по-немецки ни бум-бум.

— Дальше что?

— Понял я, что про Ваньку он рассказывает. Спроси, говорю, Семена, где убил. А сам смотрю, куда рукой фриз покажет. «Фере, фере», — гундосит и показывает в сторону деревни. Забулькал кровью и помер. На сосне, говорит Семен, он его оста-

вил, не смог снять. Так и висит до сих пор. Пошли мы, пока темно. Снять решили. Ваньку нашли, а фрицев в деревне не застали. Ушли через болото.

— Откуда знаешь?

— Следы свежие возле церкви видели, и осока смята у берега. Как будто нога чья съехала по склону, так и след отпечатался.

— Не ловушка?

— Да точно, товарищ командир. Нет там никого. Мы все облазили. В церкви они ночевали, костер там жгли и сушились. А в сарае и в доме еще трех мертвяков нашли. Тот, что в избе, теплый еще, а те, что в сарае, околели уже.

— Собери бойцов, и чтобы без гутора. Тихо пойдем, вдруг засада где. Раненых здесь оставим с оружием, если что — прикроют.

— Слушаюсь, — старшина козырнул и кинулся по секретам, разнося команду на выдвигание.

Разочарованию Сорокина не было предела.

Майор стоял возле церкви и смотрел в болотную даль. Где-то там шлепали сейчас диверсанты, вырвавшись из западни. Прав был Шевцов: всю ночь грызли и выпрыгнули.

— Слегу вырубите, будем тропу искать.

Пока бегали, рубили слегу, Василий Гаврилович постоял над старым, седым красноармейцем с опаленными щеками, расстрелянным фашистами за церковь. Бойца следовало похоронить. Сорокин приказал выкопать могилу побольше и пошел к сосне, на которой все еще сидел, привязанный к стволу, Ваня Голиков.

\* \* \*

Видел Алешка, что учудил офицер, — и зарыдал от бессилия, размазывая грязь по лицу. Сам он не тонул и вперед не двигался, будто застрял на одном месте. А фрицы медленно, с упорством продвигались по трясине, оставляя монаха наедине с болотом. Сантиметр за сантиметром сильные руки подтягивали отяжелевшие от болотной грязи тела, приближаясь к спасительному берегу.

Видно, так надо.

Красноармеец закрыл глаза, отваливаясь на спину, и зашептал:

— Не достоин я тебя, Господи. Кто я такой? Трус, дезертир, ничтожество. За меня священник жизнь отдал, а я ему даже спасибо не сказал. Вот и страдаю за грехи свои, за то, что не искал Тебя, Господи, за то, что отрекся от Тебя. Прости меня, Господи!..

При этих словах узел на ранце развязался, веревка скользнула между стволов, словно нитка, выскочившая из ушка иголки, вильнула и скрылась в болоте.

— Тойфель<sup>37</sup>! — не то позвал, не то выругался Фридрих, не чувствуя натяжения стропы. Забил, заколотил руками по болоту. Хотел выскочить брассом, пройти оставшиеся два метра стилем пловца — и не смог. Зарылся в жижу, хлебнул тины и закричал — да так, что даже бесы, покачивая головами, зауважали офицера.

— Хильфе, Хильфе, — звали немцы. Они топили друг друга, хватаясь за руки, пытались плыть, разгребая руками жижу, но только больше закапывались, пока не пошли пузыри и топь не поглотила егерей.

Лежал Алешка на трясине, как на перине, и думал: любит его Господь. А вот за что — не понимал.

Сколько он пролежал, Алексей не знал. Может, час, может, два. На самом деле с момента, как последний пузырь схлопнулся на поверхности, прошло не больше

<sup>37</sup> Teufel (нем.) — черт, дьявол.

минуты. К Алексею подошел юноша в лучезарных белых одеждах, с крыльями за спиной и сияющим нимбом вокруг головы. Посмотрел на своего «крестника» и протянул десницу<sup>38</sup>.

— Вот и свиделись. Давай руку, выбираться будем...

### Разговор на болоте (продолжение)

— Пап, смотри, ангел к нему вернулся, — Дарья улыбнулась, прижимая к себе малых.

— Видно, так Богу угодно, — произнес отец Алексей и добавил: — Очистилась душа красноармейца, как пить дать, станет монахом.

Всей семьей Голиковы смотрели, как юноша взвалил Алексея себе на плечи и понес к берегу. Болотная грязь ручьями стекала с солдата, ничуть не замавав ангельские одежды.

— Грязь не снаружи, грязь внутри, — нравоучительно изрек батюшка и присел на пригорке. Только сейчас он понял, что устал. Устал не от работы — бесплотным не дано такого чувства. Устал от духовного напряжения, ожидая, вернется к рабу Божьему Алексею ангел-хранитель или не вернется. И если вернется, спасет или оставит...

### ПОСЛЕСЛОВИЕ

Голиковых похоронили с почестями — как и положено солдатам, погибшим за Родину. По всему было видно, что приняли они здесь неравный бой. Отца Алексея положили в гимнастерке и в галифе, Ваню — в простреленном ватнике, Федора — в стихаре: завязали расправленный омофор вокруг плеч крестообразно и уложили рядом с отцом и братом. Дарью накрыли солдатской шинелью: взрывом гранаты разорвало девушку пополам, и платье обгорело. Детишек принесли — Таню со Степкой, малому сунули в руки солдата тряпчатого. Накрыли всю семью скатертью с алтаря, громыхнули изо всех стволов и засыпали землей. Как и положено православным.

Долго думали, что поставить, звездочку или крест.

Поставили крест — в знак уважения к священническому сану отца Алексея. Его опознала Тамара — та самая, что подвозила Шевцова. Когда сформированный отряд грузился в полторку, женщина напросилась в проводники. Сказала, что дорогу знает. На самом деле хотела повидать батюшку и попросить его молитв за сына, пропавшего под Смоленском.

О том, что произошло в деревне, бойцы могли только догадываться. Вопросов было много, а ответы, скорее всего, никто никогда не узнает. Шевцов, Попов и Сорокин сидели на крыльце и поминали павших, рассуждая между собой.

Увидев фрицев, Иван запустил сирену, и немцы в отместку расстреляли священника и его семью. Вот только непонятно, почему отец Алексей нарядился солдатом, почему Федор и Дарья лежали на дне погребу, а Танюшка со Степкой — за домом на одеяле. Почему заряженное ружье так и осталось под лавкой, чьей кровью были залиты ступени в погребу, и зачем немцы проткнули ножом игрушечного солдата.

И самое главное: куда делись фрицы, ушедшие через болото?

Прочесывать леса, которые тянулись до Карелии и даже дальше, — бессмысленно. А искать группу из пяти-шести человек равносильно поиску иголки в

<sup>38</sup> Десница (ст.-слав.) — правая рука.

стоге сена. Если фашисты живы — дадут о себе знать, а если утонули — будет тишина.

Бежали дни, а в тылу 22-й армии все было спокойно.

Через неделю ударили морозы. Первый снег выпал 7 ноября. Холод вморозил танки и артиллерию противника в русские дороги. Под Москвой немцы все еще пытались наступать на Клин и Тулу. А здесь, под Торжком, война затихла. Красная армия готовились к зимнему наступлению. Отряд Сорокина пополнили бойцами и отправили в рейд по тылам противника. Тамару Васильевну завалили делами по кражам продуктовых карточек, а Шевцова назначили начальником районного НКВД.

Про диверсантов стали забывать. На войне память гибкая: то, что помнили вчера, сегодня уходило на второй план. Время шло, и стояли другие цели и другие задачи.

Где-то в середине ноября ближе к полуночи в кабинет начальника Кашинского районного управления НКВД постучали.

— Войдите, — крикнул Шевцов, машинально переворачивая исписанные листы.

Смазанные машинным маслом петли бесшумно отвели дверь и также бесшумно закрыли ее за косматым человеком в монашеской рясе, поверх которой был надет солдатский ватник. В полумраке кабинета тускло блестел нагрудный крест и икона, нацепленная на шею. На голове у вошедшего была вязаная скуфейка. Из-под рясы торчали носки армейских сапог. В руке человек держал немецкий офицерский ранец.

Шевцов с удивлением смотрел на монаха.

— Как вы прошли? — спросил Петр Сергеевич и встал, одергивая гимнастерку и не совсем понимая, почему дежурный не доложил.

— С молитвой, — смиренно сказал монах. Подошел к столу и, громыхнув, уложил ранец на столешницу.

Капитан, смущенный поздним визитом непрошеного гостя, подошел к двери и выглянул в надежде увидеть, что дежурного нет.

Офицер был на месте.

— Ладно, разберемся, — Петр Сергеевич вернулся к столу, с интересом разглядывая ранец, на боковине которого был нарисован эдельвейс. Расстегнул замки. Ранец распахнулся, показывая поистине царский клад: солдатские книжки, схемы тайников, записи, документы, таблицы с шифрами и карты. — Чей? — спросил капитан, смутно догадываясь, откуда посылка.

— Немца, который застрелил священника во Мхах.

— Так-так... а ну садись, — Шевцов показал на стул и сам сел напротив. — Рассказывай, и все по порядку.

Монах рассказывал долго...

С того дня, как оставил фронт в надежде затеряться в тылу, как заснул в овраге. Рассказал про сон и про фрица, пнувшего его ногой. Про то, как он, писарь хозвзвода 917-го стрелкового полка 249-й стрелковой дивизии, бежал через болота, как заползал в церковь и вопил: «Помогите Христа ради!» Рассказал про отца Алексию, про Федора, про Ваню Голикова. Про немцев, которых вел через болото. Про ангела-хранителя, Николая Чудотворца и про то, как Господь спас его — Алешку Смирнова.

Шевцов курил, слушал, лихорадочно записывал.

Когда монах договорил, начальник райотдела выкурил полпачки. Пробежал глазами исписанный лист, поставил дату и сунул монаху бумагу с многозначным заголовком, выведенным красивым каллиграфическим почерком: «Протокол допроса».

— Подпиши.

Алексей молча подмахнул документ и так же молча протянул Шевцову подписанный самому себе приговор.

Капитан открыл окно, выгоняя сигаретный дым. Прошелся по кабинету, слушая, как поскрипывают сапоги. Развернулся вместе с половичком и спросил:

— Почему долго не появлялся? Прятался?

— Нет, — тихим, спокойным голосом проговорил Алексей. — Ходил в Лихославль к владыке за благословением: монахом хочу стать.

— И что владыка?

— Сказал, после войны, — Алешка помолчал и добавил: — На фронт отправьте меня. Если не велика моя вина.

— Вина велика. И даже очень. Дезертиров у нас расстреливают... — Шевцов затаил паузу, походил по кабинету, пошелестел немецкими документами и присел на край стола. — Но, учитывая важность добытых сведений, я похлопочу. В Торжке добровольческий полк формируют, через три дня отправка на фронт. Согласен?

— Да!

— Вот и договорились. Можешь с крестом идти, а икону лучше здесь оставить.

Алексей снял икону и положил рядом с ранцем. На душе стало тоскливо — словно с любимым человеком расставался. Увидятся ли они вновь... Скорее всего, нет.

— Переночуешь в каптерке, а утром я тебя на станцию отвезу. Не страшно на фронт-то идти? Убить могут.

То ли от души спросил начальник у Смирнова, то ли напомнить решил, что дезертир. Но Алешка не обиделся. Посмотрел на капитана и поднялся со стула.

— На все воля Божья! Я и утонуть мог в болоте. Господь милостив! А икону я все же заберу. Она мне жизнь спасла, — Алексей взял со стола образ и пошел к двери, не оглядываясь.

